

A still life painting in a soft, painterly style. In the center-left is a glass filled with a dark liquid. To its right is a large, ripe yellow-orange fruit, possibly a peach or apricot. In the upper right corner is a green apple. The foreground is dominated by several pieces of aged, yellowed paper with faint, illegible handwriting. The background is a warm, textured wash of pink and red tones. The entire scene is framed by a dark maroon border at the top and bottom, which contains the title and publisher information.

КОНСТАНТИН  
**ПАУСТОВСКИЙ**

*Повесть о жизни*

*Книги I–III*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Константин Паустовский  
**Повесть о жизни. Книги I–III**

«Азбука-Аттикус»

1946, 1954, 1956

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

## **Паустовский К. Г.**

Повесть о жизни. Книги I–III / К. Г. Паустовский — «Азбука-Аттикус», 1946, 1954, 1956 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-22554-1

Константин Паустовский — выдающийся русский писатель, чьи романы, повести, рассказы и очерки по праву считаются классикой отечественной литературы XX века и неоднократно переводились на многие языки мира, автор замечательной лирико-автобиографической прозы, исполненной любви к русской природе и русской культуре. Для советских читателей Паустовский — это олицетворение человеческого и писательского благородства, совесть эпохи. Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию в области литературы, и только по политическим причинам не получил эту почетную награду. Над «Повестью о жизни», одним из главных своих произведений, Паустовский работал 18 лет. По словам Константина Кедрова, «в первых главах „Повести о жизни“ Бунин угадал возрождение русской литературы». Перед нами проходит жизнь писателя — с детских лет и до того времени, когда он осознает свой литературный успех. Автобиографизм, интимно-личное соединяются здесь с историческим и общезначимым, размышления о прошлом — с днем сегодняшним. В настоящем издании публикуются первые три из шести книг «Повести о жизни».

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22554-1

© Паустовский К. Г., 1946, 1954, 1956

© Азбука-Аттикус, 1946, 1954, 1956



## Содержание

Несколько слов	7
Книга первая	8
Смерть отца	8
Дедушка мой Максим Григорьевич	13
Караси	17
Плеврит	20
Поездка в Ченстохов	22
Розовые олеандры	26
Шарики из бузины	32
Святославская улица	37
Зимние зрелища	41
Гардемарин	46
Как выглядит рай	49
Брянские леса	52
Кишата	56
Вода из реки Лимпопо	61
Первая заповедь	67
Липовый цвет	72
Я был, конечно, мальчишкой	78
Красный фонарик	84
Пустынная Таврида	88
Крушение	95
Артиллеристы	100
Великий трагик Кин	104
Один на большой дороге	108
Дикий переулок	110
Осенние бои	113
«Живые» языки	116
Конец ознакомительного фрагмента.	120

# **Константин Паустовский**

## **Повесть о жизни**

### **Книги I–III**

© К. Г. Паустовский (наследник), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство азбука®

Оформление обложки Валерия Гореликова

\* \* \*

## Несколько слов

Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это – простой и неопровержимый закон.

В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.

Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.

По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.

Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать – неизвестно.

Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.

Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.

Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, – чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

*К. Паустовский*

## Книга первая

### Далекие годы

*Жизнь моя, иль ты приснилась мне?*  
*Сергей Есенин*

### Смерть отца

Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длинноротый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феоктистов рассказал мне, что ночью пошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умер отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина – гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула – извозчик.

Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.

– Ну что ж, позovem Брегмана, отпетого старика, – решил наконец Феоктистов. – Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы» в тисненых золотом переплетах, вошел извозчик Брегман – «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щеки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.

– Ой, несчастье! – сказал он наконец фальцетом. – Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, – я не побожусь, что пять или, положим, десять.

– Спасибо, Брегман, – сказал Феоктистов. – Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

– Ну уж если я такой храбрый, – пропищал, усмехаясь, Брегман, – так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид». Там я, по крайности, почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза – все равно кого, лишь бы согласился ехать».



Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабушкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.

Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетюшка Дозя.

Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетюшка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетюшка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.

Любимый человек обманул тетюшку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святыне дары, нельзя разговаривать.

На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.

В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красивые бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скудном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вьё!». Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось – до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феофтистов, Версалию. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.

– Эти сады очень любил Мицкевич, – сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетающие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах – Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.

Мы часто переезжали из города в город – из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетюшка Дозя.

Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.

Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

– Гребля! – сказал он упавшим голосом. – Теперь молитесь богу, пассажиры!

Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажата гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве, – ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

– Езус-Мария! – сказал он тихим голосом. – Как же мы переедем?

– Э-э! – ответил Брегман. – Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбивала их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятились и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней – два гнедых и серый – выволокли наконец коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагулу, как старый Брегман, а я спросил, как отец.

– Еще жив, – ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой. – Ждет. А где мама – Мария Григорьевна?

– Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, приедет завтра.

Дядя Илько посмотрел на реку.

– Прибывает, – сказал он. – Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, выплуканными глазами.

В душевных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел не отрываясь на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани.

Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.

Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:

– Боюсь... погубит тебя... бесхарактерность.

– Нет, – тихо возразил я. – Этого не будет.

– Маму увидишь, – прошептал отец. – Я виноват перед ней... Пусть простит...

Он замолчал и слабо стиснул мою руку.

Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был по существу совсем не статистиком, а поэтом.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его позвали читать над отцом псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скобелева так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской вейлке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» – враль и болтун.

Он читал псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то начал махать фонарем и протяжно кричать. Я вышел с дядей Илько на берег. Река ревела. Вода шла через греблю холодным водопадом. Ночь стояла поздняя, глухая, ни единой звезды не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей земли. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было разобрать.

– Должно быть, мама, – сказал я дяде Илько.

Но он мне ничего не ответил.

– Пойдем, – сказал он, помолчав. – Холодно на берегу. Простудишься.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в роще на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил вполголоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном – маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустила на колени и упала головой на песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бесильно опустилась на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

– Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis!

«Вечный покой и вечный свет даруй им, господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по счастью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытывал это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

## Дедушка мой Максим Григорьевич

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину.

Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана – каморы – сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту – «универсал», медную печать с гербом, Георгиевскую медаль за турецкую войну, «Сонник», несколько обкуранных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного, нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь при Екатерине Второй была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туретчину», об уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох – будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом – ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях – думках. Их пел нам, своим внучатам, дед мой Максим Григорьевич.

Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за левадой – отсиживался там от гневного характера моей бабки – турчанки.

В давние времена дед был чумаком. Он ходил на волах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями «Катеринославщины» и Херсонщины лежит райская крымская земля.

До того как дед стал чумаком, он служил в николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена, из города Казанлыка во Фракии, жену – красавицу-турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя – Гонората.

Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем деда, и старались не попадаться ей на глаза.

Дед, сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории.

Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами под скрип колес, валяясь на возу и глядя в небо. Казачьи же песни всегда вызывали непонятную

грусть. Они казались мне то плачем невольников, закованных в турецкие цепи – кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт.

Чего только не пел дед! Чаше всего он пел любимую нашу песню:

Засвистали казаченьки  
В поход с полуночи.  
Заплакала Марусенька  
Свои ясны очи.

А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история лирника Остапа.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники.

Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в посконной рубахе. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком.

Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели.

Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, «псалмы» и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит-затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню.

Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкассах. «Киньте грошик, – говорил он, – слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в божий рай».

Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополи. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медяки.

Представление о лирниках навсегда связалось у меня с памятью об украинских базарах – ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог и синеватый дым струится над землей, уже освещенной солнцем.

Запотевшие кувшины – глечики – с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в макотрах, горячие ватрушки с изюмом, решета с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб-«покотух», кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла – его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все «дядьки» считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь.

Историю лирника Остапа я знал почти наизусть.

– Случилось то в селе Замощье, под городом Васильковом, – рассказывал дед. – Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными-пречерными вербами по-над самой рекой. Не знал Остап неудачи – ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких возов.

Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу. Раздувал Остап угли и вдруг слышит – топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос – женский, молодой – зовет коваля.

Вышел Остап и замер: у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки. И зубы смеются. А бархат на платье мягкий, синий, и блискаются на нем капли

– падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне – молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полк улан.

«Коваль, голубчик, – говорит женщина, – подкуй мне коня, потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы».

Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на Остапа.

«Не встречал я вас до сей поры, – говорит ей Остап. – Не из наших вы, мабудь, мест?»

«Я из Петербурга, – отвечает женщина. – Очень хорошо ты куешь».

«Что подковы! – говорит ей тихо Остап. – Пустое дело! Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете».

«Какую же это вещь?» – спрашивает женщина.

«Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами».

«Хорошо! – так же тихо отвечает женщина. – Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду».

Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и Остап не удержался – жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил Остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!»

Кони взвились, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера. Но не сдужил. Ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз.

Однако перемогся Остап, шесть дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле.

А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу.

Остап боялся выйти, показать свое лицо – закрыл руками глаза и ждал.

И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна-единственная ее слеза.

«Знаю, все знаю, – говорит женщина. – Сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап. Из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург».

«Зачем?» – спрашивает Остап тихо.

«Милый мой, сердце мое, – говорит женщина, – все равно не дадут нам люди счастья».

«Ваша воля, – отвечает Остап. – Я простой человек, коваль. Мне о вас думать – и то радость».

Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик!

В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом я спрашивал шепотом:

– Так они и не виделись больше?

– Нет, – отвечал дед. – Это верно, не виделись. Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла, – мабудь, не выдержала разлуки. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора-камня, глянул, и сердце у него сорвалось – на камне лежала его железная роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. Навеки. А Остап начал лирничать и, мабудь, так и помер на шляху или на базаре под возом. Аминь!



Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, а Рябчик ничуть не обижался и лез ко мне ласкаться, высунув горячий язык.

В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлой осенью, когда мы уезжали из Городища, он вцепился в колесо – хотел остановить коляску – и поломал зубы.

Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, – как говаривал дед, – другая пропорция».

Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности.

Бабка была деспотична, придирчива. Она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках. Она ведала хозяйством. Ее черный глаз замечал малейший беспорядок в доме.

По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дому, садилась на завалинку, дымила трубкой и смотрела на быструю реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, чему она смеется.

Единственной вещью, которая немного примиряла нас с бабкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комод. Она изредка вынимала его и с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз.

Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка – родного города бабки – называется Долиной роз, что там добывают розовое масло и чудесный брусок – это какой-то состав, пропитанный этим маслом.

Долина роз! Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабки.

## Караси

Сейчас, задержавшись в Городище после смерти отца, я вспомнил раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды и еще не умерли дед и турчанка-бабка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы.

Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков.

В Городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак. Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами. Из сырой темноты тянуло бурьяном.

Тетушка Дозя вносила меня, сонного, в теплую хату, устланную разноцветными половиками. В хате пахло топленным молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дози.

Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые мальвы-монашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветок настурции; в нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны – отражения реки. Река шумела тут же, рядом.

Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то:

– Ну конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия! Дозя, ставь на стол вишневку и пироги!

Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел: с того берега по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах – брилях. Медали бренчали и поблескивали на их коричневых свитках.

Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной бляхой на шее.

В хате начиналась суета. Тетушка Дозя взмахивала над столом скатертью. Ветер пронесился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу. Отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики.

Потом тетушка Дозя и мама убегали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо, навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба.

Старики наконец подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу:

– Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность.

– Спасибо! – говорил отец.

– Да-а! – отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. – Оно так, конечно...

– Да-а! – повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки.

– Вот оно, значит, как слагается, – произносил старый николаевский солдат с бугристым носом.

– Понятное дело! – вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля, отец двенадцати дочерей.

От старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше пяти: Ганна, Парася, Горпына, Олеся, Фрося... Потом старик сбивался и начинал счет сначала.

– Так! – говорили старики и надолго замолкали.

В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, кричали, молчали и смотрели в землю. Наконец по каким-то неувимым признакам дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил:

– Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйста теперь откусать чем бог послал.

В хате стариков встречала мама в летнем нарядном платье. Старики целовали ей руку, а она в ответ целовала их коричневые руки – таков был обычай. Тетушка Дозя в синем платье и в шали с пунцовыми розами, румяная, красивая, рано поседевшая, кланялась старикам в пояс.

После первого стаканчика липкой вишневки Недоля, мучимый любопытством, приступал к расспросам. Все вещи, привезенные нами из Киева, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал:

– Що воно, для чого воно и яка в нем словесность?

Отец объяснял ему, что вот это – духовой утюг, а это – мороженица, а там на комод – складное зеркало. Недоля с восхищением крутил головой:

– На всячину свое средство!

– Оно так, конечно! – соглашались старики, выпивая.

Лето в Городище вступало в свои права, – жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ощущением беззаботных и разнообразных дней.

Остров, на котором стояла дедовская хата, был, конечно, самым таинственным местом на свете.

За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды.

За прудами, вверх по склону, подымалась роща с непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс цветами и такие душистые, что от них в знойный день разбаливалась голова.

За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалаша. А за дедовским шалашом шли неизведанные земли – красные гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой.

В углублениях этих скал стояли маленькие озера дождевой воды. Трясогузки, подрагивая пестрыми хвостами, пили теплую воду из этих озер. Неуклюжие и нахальные шмели, свалившись с размаху в озера, кружились и гудели, тщетно взывая о помощи.

Скалы обрывались отвесной стеной в реку Рось. Туда нам запретили ходить. Но мы изредка подползали к краю скал и смотрели вниз. Тугим прозрачным потоком, кружа голову, неслась вниз Рось. Под водой, навстречу течению, медленно шли, вздрагивая, узкие рыбы.

На том берегу подымался по скату заповедный лес графини Браницкой. Солнце не могло прорваться сквозь мощную зелень этого леса. Лишь изредка одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал перед нами потрясающую силу растительности. Как сверкающие пылинки, влетали в этот луч маленькие птицы. Они с писком гонялись друг за другом и ныряли в листву, будто в зеленую воду.

Но самым любимым моим местом были пруды.

Каждое утро отец ходил туда удить рыбу. Он брал меня с собой.

Мы выходили из дому очень рано и осторожно шагали по тяжелой мокрой траве. Тихими золотеющими пятнами светились среди темной, еще ночной листвы ветки ив, озаренные первым солнцем. В глухой воде плескались караси. Заросли кувшинок, рдеста, стрелолиста и водяной гречиши висели, казалось, над черной бездной.

Таинственный мир воды и растений раскрывался передо мной. Очарование этого мира было так велико, что я мог просиживать на берегу пруда с восхода до захода солнца.

Отец бесшумно закидывал удочки и закуривал. Табачный дым плыл над водой и запутывался среди прибрежных веток.

Я набирал в ведро воды из пруда, бросал в эту воду траву и ждал. Красные поплавки неподвижно стояли в воде. Потом один из них начинал вздрагивать, пускал легкие круги, внезапно нырял или быстро плыл в сторону. Отец подсекал, леска натягивалась, ореховое удище сгибалось в дугу, и в тумане над прудом начиналось бульканье, плеск, возня. Вода разбегалась, качая кувшинки, торопливо удирали во все стороны жуки-водомеры, и наконец в загадочной глубине появлялся бьющийся золотой блеск. Нельзя было разобрать, что это такое, пока отец не выволакивал на примятую траву тяжелого карася. Он лежал на боку, отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства.

Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, и мне очень хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого.

Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозových дождей. Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор.

## Плеврит

Грозы в Городище бывали часто. Они начинались на Ивана Купала и длились весь июль, обкладывали остров разноцветными громадами туч, блистали и гремели, сотрясая наш дом, и пугали до обморока тетушку Дозю.

С этими грозами связано воспоминание о моей первой детской любви. Мне было тогда девять лет.

В день Ивана Купала девушки из Пилипчи приходили нарядной стайкой к нам на остров, чтобы пускать по реке венки. Они плели венки из полевых цветов. Внутри каждого венка они вставляли крестовину из щепочек и прилепляли к ней восковой огарок. В сумерки девушки зажигали огарки и пускали венки по реке.

Девушки гадали, – чья свеча заплывет дальше, та девушка будет счастливее всех. Но самыми счастливыми считались те, чей венок попадал в водоворот и медленно кружился над омутом. Омут был под крутояром. Там всегда стояло затишье, свечи горели на таких венках очень ярко, и даже с берега было слышно, как трещат их фитили.

И взрослые, и мы, дети, очень любили эти венки на Ивана Купала. Один Нечипор пренебрежительно кричал и говорил:

– Глупство! Нема в тех венках ниякой рации!

С девушками приходила Ганна, моя троюродная сестра. Ей было шестнадцать лет. В рыжеватые пышные косы она вплетала оранжевые и черные ленты. На шее у нее висело тусклое коралловое монисто. Глаза у Ганны были зеленоватые, блестящие. Каждый раз, когда Ганна улыбалась, она опускала глаза и подымала их уже не скоро, будто ей было тяжело их поднять. Со щек ее не сходил горячий румянец.

Я слышал, как мама и тетушка Дозя жалели Ганну за что-то. Мне хотелось узнать, что они говорят, но они всегда замолкали, как только я подходил.

На Ивана Купала меня отпустили с Ганной на реку к девушкам. По дороге Ганна спросила:

– Кем же ты будешь, Костик, когда вырастешь большой?

– Моряком, – ответил я.

– Не надо, – сказала Ганна. – Моряки тонут в пучине. Кто-нибудь да проплачет по тебе ясные свои очи.

Я не обратил внимания на слова Ганны. Я держал ее за горячую смуглую руку и рассказывал о своей первой поездке к морю.

Ранней весной отец ездил на три дня в командировку в Новороссийск и взял меня с собой. Море появилось вдали, как синяя стена. Я долго не мог понять, что это такое. Потом я увидел зеленую бухту, маяк, услышал шум волн у мола, и море вошло в меня, как входит в память великолепный, но не очень ясный сон.

На рейде стояли черные броненосцы с желтыми трубами – «Двенадцать апостолов» и «Три святителя». Мы ездили с отцом на эти корабли. Меня поразили загорелые офицеры в белых кителях с золотыми кортиками, маслянистое тепло машинных отделений. Но больше всего удивил меня отец. Я таким никогда его не видел. Он смеялся, шутил, оживленно говорил с офицерами. Мы даже зашли в каюту к одному корабельному механику. Отец пил с ним коньяк и курил турецкие папиросы из розовой бумаги с золотыми арабскими буквами.

Ганна слушала, опустив глаза. Мне стало почему-то жаль ее, и я сказал, что когда сделаюсь моряком, то непременно возьму ее к себе на корабль.

– Кем же ты меня возьмешь? – спросила Ганна. – Стряпкой? Или прачкой?

– Нет! – ответил я, загораясь мальчишеским воодушевлением. – Ты будешь моей женой.

Ганна остановилась и строго посмотрела мне в глаза.

– Побожись! – прошептала она. – Поклянись сердцем матери!

– Клянусь! – ответил я, не задумываясь.

Ганна улыбнулась, зрачки ее сделались зелеными, как морская вода, и она крепко поцеловала меня в глаза. Я почувствовал жар ее рдеющих губ. Всю остальную дорогу до реки мы молчали.

Свеча Ганны погасла первой. Из-за леса графини Браницкой подымалась дымная туча. Но мы, увлеченные венками, ее не заметили, пока не ударил ветер, не засвистели, нагибаясь к земле, ракиты и не хлестнула, взорвавшись ослепительным громом, первая молния.

Девушки с визгом бросились под деревья. Ганна сорвала с плеч платок, обвязала им меня, схватила за руку, и мы побежали.

Она тащила меня, ливень настигал нас, и я знал, что до дому мы пробежать все равно не успеем.

Ливень догнал нас невдалеке от дедовского шалаша. До шалаша мы пробежали промокшие насквозь. Деда на пасеке не было.

Мы сидели в шалаше, прижавшись друг к другу. Ганна растирала мои руки. От нее пахло мокрым ситцем. Она все время испуганно спрашивала:

– Тебе холодно? Ой, заболеешь ты, что я тогда буду делать!

Я дрожал. Мне было действительно очень холодно. В глазах Ганны сменялись страх, отчаяние, любовь.

Потом она схватилась за горло и закашлялась. Я видел, как билась жилка на ее нежной и чистой шее. Я обнял Ганну и прижался головой к ее мокрому плечу. Мне захотелось, чтобы у меня была такая молодая и добрая мама.

– Что ты? – растерянно спрашивала Ганна, не переставая кашлять, и гладила меня по голове. – Что ты? Ты не бойся... Нас громом не убьет. Я же с тобой. Не бойся.

Потом она слегка оттолкнула меня, прижала ко рту рукав рубахи, вышитый красными дубовыми листьями, и рядом с ними по полотну расплзлось маленькое кровавое пятно, похожее на вышитый дубовый листок.

– Не надо мне твоей клятвы! – прошептала Ганна, виновато взглянула на меня исподлобья и усмехнулась. – Это я пошутила.

Гром гремел уже за краем огромной земли. Ливень прошел. Только шумели по деревьям частые капли.

Ночью у меня начался жар. Через день приехал из Белой Церкви на велосипеде молодой доктор Напельбаум, осмотрел меня и нашел, что у меня плеврит.

От нас Напельбаум ходил в Пилипчу к Ганне, вернулся и сказал в соседней комнате моей матери тихим голосом:

– У нее, Мария Григорьевна, скоротечная чахотка. Она не доживет до весны.

Я заплакал, позвал маму, обнял ее и заметил, что у мамы на шее бьется такая же нежная жилка, как и у Ганны. Тогда я заплакал сильнее и долго не мог остановиться, а мама гладила меня по голове и говорила:

– Что ты? Я же с тобой. Не бойся.

Я выздоровел, а Ганна умерла зимой, в феврале.

На следующее лето я пошел с мамой на ее могилу и положил на зеленый маленький холмик цветы ромашки, перевязанные черной лентой. Такие цветы Ганна вплетала в свои косы. И мне было почему-то неловко, что рядом со мной стоит мама с красным зонтиком от солнца и что я пришел к Ганне не один.

## Поездка в Ченстохов

В Черкассах, на Днепре, жила другая моя бабушка – Викентия Ивановна, высокая старуха, полька.

У нее было много дочерей, моих тетушек. Одна из этих тетушек, Евфросиния Григорьевна, была начальницей женской гимназии в Черкассах. Бабушка жила у этой тетушки в большом деревянном доме.

Викентия Ивановна всегда ходила в трауре и черной наколке. Впервые она надела траур после разгрома польского восстания в 1863 году и с тех пор ни разу его не снимала.

Мы были уверены, что во время восстания у бабушки убили жениха – какого-нибудь гордого польского мятежника, совсем не похожего на угрюмого бабушкиного мужа, а моего деда, – бывшего нотариуса в городе Черкассах.

Деда я помню плохо. Он жил в маленьком мезонине и редко оттуда спускался. Бабушка поселила его отдельно от всех из-за невыносимой страсти деда к курению.

Изредка мы пробирались к нему в комнату, горькую и мутную от дыма. На столе горами лежал табак, высыпанный из коробок. Дед, сидя в кресле, набивал трясущимися жилистыми руками папиросу за папиросой.

С нами он не разговаривал, только взъерошивал тяжелой рукой волосы у нас на затылке и дарил лиловую глянцевую бумагу из табачных коробок.

Мы часто приезжали из Киева погостить к Викентии Ивановне. У нее существовал твердый порядок. Каждую весну великим постом она ездила на богомолье по католическим святым местам в Варшаву, Вильно или Ченстохов.

Но иногда ей приходило в голову посетить православные святыни, и она уезжала в Троице-Сергиевскую лавру или в Почаев.

Все ее дочери и сыновья посмеивались над этим и говорили, что если так пойдет дальше, то Викентия Ивановна начнет навещать знаменитых еврейских цадиков и закончит свои дни паломничеством в Мекку к гробу Магомета.

Самое крупное столкновение между бабушкой и отцом произошло, когда бабушка воспользовалась тем, что отец уехал в Вену на конгресс статистиков, и взяла меня с собой в одно из религиозных путешествий. Я был счастлив этим и не понимал негодования отца. Мне было тогда восемь лет.

Я помню прозрачную виленскую весну и каплицу Острая Брама, куда бабушка ходила к причастию.

Весь город был в зеленоватом и золотистом блеске первых листьев. В полдень на Замковой горе стреляла пушка времен Наполеона.

Бабушка была очень начитанная женщина. Она без конца мне все объясняла.

Религиозность удивительно уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Герценом и одновременно Генрихом Сенкевичем. Портреты Пушкина и Мицкевича всегда висели в ее комнате рядом с иконой Ченстоховской божьей матери. В революцию 1905 года она прятала у себя революционеров-студентов и евреев во время погромов.

Из Вильно мы поехали в Варшаву. Я запомнил только памятник Копернику и кавярни, где бабушка угощала меня «пшевруцонной кавой» – «перевернутым кофе»: в нем было больше молока, чем кофе. Она угощала меня и пирожными – меренгами, таявшими во рту с маслянистой холодной сладостью. Нам подавали вертлявые девушки в гофрированных передниках.

Из Варшавы мы поехали в Ченстохов, в знаменитый католический монастырь Ясна Гура, где хранилась «чудотворная» икона божьей матери.



Впервые я тогда столкнулся с религиозным фанатизмом. Он потряс меня и напугал. С тех пор страх перед фанатизмом и отвращение к нему вошли в мое сознание. Я долго не мог избавиться от этого страха.

Поезд пришел в Ченстохов рано утром. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было далеко.

Из вагона вышли богомольцы – польские крестьяне и крестьянки. Среди них были и городские обыватели в пыльных котелках. Старый тучный ксендз и мальчишки-причетники в кружевных одеяниях ждали богомольцев на вокзале.

Тут же, около вокзала, процессия богомольцев выстроилась на пыльной дороге. Ксендз благословил ее и пробормотал в нос молитву. Толпа рухнула на колени и поползла к монастырю, распевая псалмы.

Толпа ползла на коленях до самого монастырского собора. Впереди ползла седая женщина с белым иступленным лицом. Она держала в руках черное деревянное распятие.

Ксендз медленно и равнодушно шел впереди этой толпы. Было жарко, пыльно, пот катился по лицам. Люди хрипло дышали, гневно оглядываясь на отстающих.

Я схватил бабушку за руку.

– Зачем это? – спросил я шепотом.

– Не бойся, – ответила бабушка по-польски. – Они грешники. Они хотят вымолить прощение у пана бога.

– Уедем отсюда, – сказал я бабушке.

Но она сделала вид, что не расслышала моих слов.

Ченстоховский монастырь оказался средневековым замком. В стенах его торчали ржавые шведские ядра. В крепостных рвах гнила зеленая вода. На валах шумели густые деревья.

Подъемные мосты на железных цепях были опущены. Мы въехали в извозничьем экипаже по такому мосту в путаницу монастырских дворов, переходов, закоулков и аркад.

Служка-монах, подпоясанный веревкой, провел нас в монастырскую гостиницу. Нам отвели холодную сводчатую комнату. Неизменное распятие висело на стене. На пробитые гвоздями латунные ноги Христа кто-то повесил венок из бумажных цветов.

Монах спросил бабушку, не страдает ли она болезнями, требующими исцеления. Бабушка была очень мнительная и тотчас пожаловалась на боли в сердце. Монах достал из кармана коричневой рясы горсть маленьких, сделанных из серебра сердец, рук, голов и даже игрушечных младенцев и высыпал их горкой на стол.

– Есть сердца, – сказал он, – на пять рублей, на десять и на двадцать. Они уже освященные. Остается только повесить их с молитвой на икону божьей матери.

Бабушка купила маленькое пухлое сердце за десять рублей.

Бабушка сказала, что ночью мы пойдем в костел на торжественную службу, напоила меня чаем с варшавскими черствыми булочками и прилегла отдохнуть. Она уснула. Я смотрел в низкое окно. Прошел монах в блестящей выгоревшей рясе. Потом два польских крестьянина сели в тени у стены, достали из узелков серый хлеб и чеснок и начали есть. У них были синие глаза и крепкие зубы.

Мне стало скучно, и я осторожно вышел на улицу. Бабушка велела, чтобы в монастыре я не разговаривал по-русски. От этого мне было страшно. По-польски я знал всего несколько слов.

Я заблудился, попал в узкий проход между стенами. Он был вымощен треснувшими плитами. В трещинах цвел подорожник. К стенам были привинчены чугунные фонари. Их, должно быть, давно не зажигали – в одном фонаре я разглядел птичье гнездо.

Узкая калитка в стене была приоткрыта. Я заглянул в нее. Яблоневый сад, весь в солнечных пятнах, спускался по склону холма. Я осторожно вошел. Сад отцветал. Часто падали пожелтевшие лепестки. Жидкий, но мелодичный звон долетал с костельной колокольни.

Под старой яблоней сидела на траве молоденькая польская крестьянка и кормила грудью ребенка. Ребенок морщился и хрипел. Рядом с женщиной стоял бледный, опухший крестьянский парень в новой фетровой шляпе. На шляпе была нашита синяя атласная лента и за нее заткнуто павлинье перо. Парень смотрел себе под ноги круглыми глазами и не шевелился.

Низенький плешивый монах с садовыми ножницами в руке присел на пне против женщины. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Нех бендзи похвалёны Езус Христус!

– На веки векув! – ответил я так, как меня учила бабушка.

Сердце у меня остановилось от страха.

Монах отвернулся и снова стал слушать женщину. Пряди белых волос падали ей на лицо. Она отбрасывала их нежной рукой и жалобно говорила:

– Как сыночку пошел пятый месяц, Михась застрелил аиста. Он принес его в нашу халупку. Я заплакала и сказала: «Что ты наделал, глупец! Ты же знаешь, что за каждого убитого аиста бог отнимает у людей по одному ребенку. Зачем же ты его застрелил, Михась?»

Парень в фетровой шляпе все так же безразлично рассматривал землю.

– И с того дня, – продолжала крестьянка, – сыночек наш посинел и болезнь начала его душить за горло. Поможет ему божья матка?

Монах уклончиво смотрел в сторону и ничего не отвечал.

– Ох, тенскнота! – сказала женщина и начала царапать себя рукой по горлу. – Ох, тенскнота! – закричала она и прижала к груди ребенка.

Ребенок тарашил глаза и хрипел.

Я вспомнил про игрушечных серебряных младенцев, которых показывал бабушке служка в монастырской гостинице. Мне было жаль эту женщину. Я хотел сказать ей, чтобы она купила за двадцать рублей такого младенца и подвесила его к ченстоховской иконе. Но у меня не хватало польских слов, чтобы дать такой сложный совет. Кроме того, я боялся монаха-садовника. Я ушел из сада.

Когда я вернулся, бабушка еще спала. Я лег не раздеваясь на жесткую койку и тотчас уснул.

Бабушка меня разбудила среди ночи. Я умылся холодной водой в большом фаянсовом тазу. Я дрожал от возбуждения. За окнами проплывали ручные фонари, слышалось шарканье ног, перезванивали колокола.

– Сегодня, – сказала бабушка, – будет служить кардинал, папский нунций.

С трудом мы добрались в темноте до костела.

– Держись за меня! – сказала бабушка в неосвещенном притворе.

Мы ощупью вошли в костел. Я ничего не увидел. Не было ни одной свечи, никакого проблеска света среди душного мрака, скованного высокими костельными стенами и наполненного дыханием сотен людей. Кромешная эта темнота сладковато пахла цветами.

Я почувствовал под ногой стертый чугунный пол, сделал шаг и тотчас наткнулся на что-то.

– Стой спокойно! – сказала шепотом бабушка. – Люди лежат крестом на полу. Ты наступишь на них.

Она начала читать молитву, а я ждал, держась за ее локоть. Мне было страшно. Люди, лежавшие крестом на полу, тихо вздыхали. Печальный шелест разносился вокруг.

Внезапно в этом тяжелом мраке раздался, сотрясая стены, рыдающий гром органа. В ту же минуту вспыхнули сотни свечей. Я вскрикнул, ослепленный и испуганный.

Большая золотая завеса, закрывавшая икону Ченстоховской божьей матери, начала медленно раздвигаться. Шесть старых ксендзов в кружевном облачении стояли на коленях перед иконой, спиной к толпе. Их руки были воздеты к небу. Только худой кардинал в пурпурной сутане с широким фиолетовым кушаком, стягивавшим его тонкую талию, стоял во весь рост

– тоже спиной к молящимся, – как бы прислушиваясь к затихающей буре органа и всхлипыванию толпы.

Я еще никогда не видал такого театрального и непонятного зрелища.

После ночной службы мы прошли с бабушкой в длинный сводчатый коридор. Светало. Под стенами стояли на коленях молящиеся. Бабушка тоже опустилась на колени и заставила опуститься и меня. Я боялся спросить ее, чего ждут эти люди с безумными глазами.

В конце коридора показался кардинал. Он шел легко и стремительно. Пурпурная его сутана развевалась и задевала молящихся по лицу. Они ловили край сутаны и целовали его страстно и униженно.

– Поцелуй сутану, – сказала мне бабушка быстрым шепотом.

Но я не послушался. Я побледнел от обиды и прямо посмотрел в лицо кардиналу. Должно быть, у меня были слезы на глазах. Он остановился, положил на мгновение сухую маленькую руку мне на голову и сказал по-польски:

– Слезы ребенка – лучшая молитва господу.

Я смотрел на него. Острое его лицо было стянуто коричневой кожей. Как будто тусклое зарево освещало это лицо. Черные прищуренные глаза смотрели на меня выжидательно.

Я упрямо молчал.

Кардинал резко отвернулся и так же легко, подымая ветер, пошел дальше.

Бабушка схватила меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от боли, и вывела из коридора.

– Весь в отца! – сказала она, когда мы вышли во двор. – Весь в отца! Матерь божья ченстоховская! Что же с тобой будет в жизни?!

## Розовые олеандры

На галерее в бабушкином доме в Черкассах стояли в зеленых кадках олеандры. Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море – далеком, теплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшем около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Запах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито захлопывал окна. Он говорил, что от этого запаха у него разыгрывается застарелая астма.

Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резеда была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем.

Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые и лукавые цыганки в черных бархатных масках, пестрые танцовщицы – то синие, то лиловые, то желтые.

Маргаритки я не любил. Они напоминали своими розовыми скучными платьицами девочек бабушкиного соседа учителя Циммера. Девочки были безбровые и белобрысые. При каждой встрече они делали книксен, придерживая кисейные юбочки.

Самым интересным цветком был, конечно, портулак – ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Вместо листьев у портулака торчали мягкие и сочные иглы. Стоило чуть нажать их, и в лицо брызгал зеленый сок.

Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. В детстве я представлял себе далекую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту равнину, на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца.

Я рассказал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «фантазер».

Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя, самая младшая из бабушкиных дочерей.

Ей было тогда двадцать три года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее было прекрасное контральто.

Тетя Надя приезжала на пасху и летом к бабушке в Черкассы. Сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навощенным полам – стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и чуть приоткрытым свежим ртом.

В серых ее глазах сверкали всегда крупинки золота. Глаза эти смеялись в ответ на все: на любую шутку, веселое слово, даже в ответ на брезгливую морду кота Антона, недовольного нашим весельем.

– Для Нади все трын-трава! – говорила с легким осуждением мама.

Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась.

В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и он стоял открытым до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву.

Груды нот валялись на креслах. Дымили свечи. Рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от грудного и нежного голоса, певшего баркаролу.

Плыви, моя гондола,  
Озарена луной.  
Раздайся, баркарола,  
Над сонною волной.

А утром меня будило вкрадчивое пение, почти шепот, около самого уха и щекочущие мои щеки волосы тети Нади. «Вставай скорей, – пела она, – не стыдно ль спать, закрыв глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы!»

Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом – юнкером дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на пасху из Петербурга.

Я вскакивал, предчувствуя бурный, веселый, неожиданный день.

Когда тетя Надя пела, даже дедушка открывал настежь дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке:

– Откуда только у Нади эта цыганская кровь?

Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская. Ссылаясь на литературные примеры и историю Речи Посполитой, она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины.

– Вот именно! – отвечал язвительно дедушка и плотно затворял за собой дверь. – Вот именно! – громко повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папиросы.

Однажды, я помню, была поздняя пасха. В Черкассах уже зацвели сады. Мы приехали из Киева на пароходе. Потом из Москвы приехала тетя Надя.

Я любил пасху, но боялся предпасхальных дней, потому что меня заставляли часами растирать миндальные зерна или взбивать ложкой белки. Я уставал от этого и даже втихомолку плакал.

Кроме того, перед пасхой в бабушкином доме начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны, окна и полы, выбивали ковры и мебель, чистили медные ручки на дверях и окнах. Нас вечно гоняли из комнаты в комнату.

После уборки происходило священнодействие – бабушка делала тесто для куличей, или, как их называли у нас в семье, для «атласных баб». Кадку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами, и пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась: от малейшего сотрясения тесто могло «сесть», и тогда прощай высокие ноздреватые куличи, пахнущие шафраном и покрытые сахарной глазурью!

Кроме куличей, бабушка пекла множество разных «мазурок» – сухих пирожных с изюмом и миндалем. Когда противни с горячими мазурками вынимали из печки, дом наполнялся такими запахами, что даже дедушка начинал нервничать в своем мезонине. Он открывал дверь и заглядывал вниз, в гостиную, где был уже накрыт тяжелыми скатертями длинный мраморный стол.

В страстную субботу в доме наконец воцарялись прохладная чистота и тишина. Утром нам давали по стакану жидкого чая с сухарями, и потом уже весь день до разговения после заутрени мы ничего не ели. Этот легкий голод нам нравился. День казался очень длинным, в голове чуть позванивало, а требование бабушки поменьше болтать настраивало нас на торжественный лад.

В полночь мы отправлялись к заутрене. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами и больно причесывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен.

Из своих комнат выходила тетушка Евфросиния Григорьевна. Она одна не принимала участия в праздничных приготовлениях. Она всегда болела, редко разговаривала и только ласково улыбалась в ответ на нашу веселую болтовню.

Она выходила в глухом синем платье, с золотой цепочкой от часов на шее и красивым бантом, приколотым к плечу. Мама объяснила мне, что этот бант называется «шифром», что это награда за образцовое окончание института, где тетушка Евфросиния Григорьевна когда-то училась.

Мама надевала свое праздничное серое платье, а отец – черный костюм с белым жилетом.

Потом появлялась бабушка – торжественная и красивая, вся в черном шелку, с искусственным цветком гелиотропа, приколотым к корсажу. Ее седые гладкие волосы были видны из-под кружевной наколки. Платье ее шуршало, и двигалась она легко, – бабушка молодела в эту ночь.

Она зажигала лампадки, после этого натягивала черные кружевные перчатки, и отец подавал ей мантилью с широкими завязками из лент.

– Вы, конечно, не пойдете к заутрене? – любезно, но холодно спрашивала его бабушка.

– Нет, Викентия Ивановна, – отвечал отец, улыбаясь. – Я прилягу немного. Меня разбудят, когда вы вернетесь из церкви.

– Ох, – говорила бабушка и вздергивала плечами, поправляя мантилью. – У меня одна надежда, что богу надоели ваши шутки и он махнул на вас рукой.

– Я тоже сильно рассчитываю на это, – учтиво отвечал отец.

Бабушка подымалась на минуту в мезонин попрощаться с дедом. Когда она спускалась от деда, в зал входила тетя Надя. Она всегда опаздывала.

Она не входила – она влетала, как тонкая сверкающая птица, в белом платье из легкого шелка с треном и буфами. Она тяжело дышала, и желтая роза трепетала у нее на груди.

Казалось, весь свет, вся радость мира сияли в ее потемневших глазах.

Бабушка останавливалась на лестнице и подносила платок к глазам. Она не могла сдерживать слез при виде красоты своей младшей дочери. Каждый раз бабушка, очевидно, думала о судьбе тети Нади, о том, что будет с ней в суровой этой жизни, и мысли эти невольно заставляли бабушку прослезиться.

На этот раз, когда мы возвратились из церкви, отец не спал. Он открыл настежь окна из гостиной в сад. Было очень тепло.

Мы сели за стол разговляться. Ночь стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало попискивание бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались к то возникавшему, то затихавшему в темноте колокольному звону.

Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять пелерину, синюю телеграмму.

Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму.

После разговения меня тотчас послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели чашки и взрослые уже пили кофе.

За обедом тетя Надя сказала, что получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы Яворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы.

– Я хочу поехать завтра, – сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила: – И возьму с собой Костика.

Я покраснел от счастья.

– Бог с тобой, – ответила бабушка, – поезжайте, но смотрите не простудитесь.

– Они вышлют за нами лошадей, – сказала тетя Надя.

От Черкасс до Смелы был час езды поездом. На станции в Смеле нас встретила Лиза Яворская, толстая и смешливая девица. В пароконном экипаже мы проехали через чистый и

красивый городок. Под зелеными обрывами тихими омутами разлилась река Тясмин. Только посредине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко. Над рекой летали стрекозы.

Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Яворская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин казался мне существом легендарным. Его блестящая жизнь должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустий.

– Рядом Каменка, бывшее имение Раевских, – сказала Лиза Яворская. – Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи.

– Какие? – спросила тетя Надя.

– Играй, Адель,  
Не знай печали;  
Хариты, Лель  
Тебя венчали  
И колыбель  
Твою качали...

Я не знал, что значит «хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столетние липы и небо, где плыли облака, – все это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны.

Лиза Яворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы вышли и пошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника.

Неожиданно из-за поворота дорожки вышел загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток. Куртка его была расстегнута. Виднелась крепкая коричневая шея.

Тетя Надя остановилась, и я заметил, как сильно она побледнела.

Загорелый человек сломал большую ветку шиповника с бутонами, исцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородавотому руку, и он поцеловал ее.

– У вас волосы пахнут порохом, – сказала тетя Надя. – И руки исцарапаны. Надо вынуть колючки.

– Пустое! – сказал он и улыбнулся.

У него были ровные зубы. Сейчас, вблизи, я увидел, что он совсем еще нестарый человек.

Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень странно, обо всем сразу – о том, что он приехал из Москвы два дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен везти свои картины на выставку в Венецию, что его околдовала цыганка – натурщица художника Врубеля – и что он вообще человек пропащий и спасти его может только голос тети Нади.

Тетя Надя улыбалась. Я смотрел на него. Он очень мне нравился. Я догадался, что это был художник. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь.

В густых волосах у художника запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Тетя Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку.

– Неисправимый! – сказала она. – Совсем мальчишка, – добавила она и грустно улыбнулась.

– Вы поймите, – умоляющим голосом пробормотал он, – как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк, изодрался вконец, но какой запах, какие сухие белые гвоздики, рыжая хвоя, какая паутина! Какая прелесть!

– Вот за это я вас и люблю, – тихо сказала тетя Надя.



Художник вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудаhtала испуганная курица.

– Салют жизни! – сказал художник. – Чертовски чудесно жить!

Мы подошли к дому, окруженные взволнованными лающими собаками.

Дом был белый, с колоннами и полосатыми шторами на окнах. К нам вышла маленькая пожилая женщина в бледно-лиловом платье, с лорнетом, вся в седых кудряшках, – мать Лизы Яворской. Она щурилась и долго, сжимая руки, восхищалась красотой тети Нади.

В прохладных комнатах дул ветер, туго натягивал шторы, сбрасывал со стола газеты «Русское слово» и «Киевскую мысль». Всюду бродили, принюхиваясь, собаки. Услышав какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на друга, мчались из комнат наружу.

Солнечные пятна бегали от ветра по комнатам, перебирали всякие вещи – вазы, медные колесики на ножках рояля, золотые рамы, брошенную на столик соломенную шляпку тети Нади и синие стволы ружья: его бородатый положил на подоконник.

Мы пили в столовой густой кофе. Художник рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной напротив собора Богоматери. Тетя Надя смотрела на него и ласково усмехалась. А мать Лизы все повторяла:

– Ах, Саша! Когда же вы будете взрослым! Пора уже наконец!

После кофе художник взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тюбики с краской и вообще царил беспорядок. Он начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботинки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник.

Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.

– Ну вот! – пробормотал он растерянным голосом... – Ни черта у меня не вышло.

На картине была изображена тетя Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал споры отца с дядей Колей о Верещагине и Врубеле. Но я не знал ни одной хорошей картины. Те, что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи со скучными деревьями и оленями у ручья или висящих вниз головой коричневых уток.

Когда художник открыл портрет, я невольно засмеялся от радости. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотыми водопадами, от ветра, сквозившего по комнатам, и зеленоватого отблеска листьев.

Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила художнику волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова.

– Ну слава богу! – вздохнул художник. – Значит, можно везти этот холст на выставку в Венецию.

Днем мы катались на лодке по Тясмину. Тени от парка лежали на воде зеленой зубчатой стеной. В глубине были видны не успевшие еще дотянуться до поверхности воды круглые листики кувшинок.

Вечером перед отъездом тетя Надя пела в низком зале. Художник аккомпанировал ей и сбивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам.

Первые встречи, последние встречи,  
Милого голоса звуки любимые...

А потом мы снова ехали в пароконном экипаже в Смелу. Художник с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда.

На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, а тетя Надя и художник остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и когда мы вернулись, тетя Надя и художник все так же сидели, задумавшись, на скамейке.

Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год на масленой она ездила на тройке в Петровский парк, пела на морозе, у нее началось воспаление легких, и перед самой пасхой она умерла. На похороны ее ездили бабушка, мама и даже отец.

Я очень тосковал тогда. И до сих пор я не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья.

## Шарики из бузины

В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой. Шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного слона с красными глазами, то в оранжевого дракона или цветок розы с зелеными листьями.

Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту дядя Юзя.

– Авантюрист чистой воды! – говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью.

Он завидовал дяде Юзе потому, что тот изъездил всю Африку, Азию и Европу, но совсем не как благонравный турист, а как завоеватель – с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жаждой заводить всякие невероятные дела в любом уголке земли: в Шанхае и Аддис-Абебе, в Харбине и Мешхеде.

Все эти дела кончались крахом.

– Мне бы дорваться до Клондайка, – говаривал дядя Юзя. – Я бы им показал, американцам!

Что именно собирался он показать клондайским отпетым золотоискателям, оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно, что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону и Аляске.

Может быть, он был рожден для того, чтобы сделаться знаменитым исследователем и путешественником, равным Николаю Пржевальскому или Ливингстону. Но жизнь в тогдашней России и в то время – его мой отец называл «безвременьем» – исковеркала дядю Юзя. Благородная страсть к путешествиям вылилась у него в беспорядочное и бесплодное скитальчество. Но дяде Юзе я все же обязан тем, что земля после его рассказов стала казаться мне смертельно интересной, и это ощущение я сохранил на всю жизнь.

Бабушка Викентия Ивановна считала дядю Юзя «божьим наказанием», белой вороной в нашей семье. Когда она сердилась на меня за шалости и непослушание, она говорила:

– Смотри, чтобы из тебя не вышел второй дядя Юзя!

Бедная бабушка! Она не подозревала, что жизнь этого дяди казалась мне совершенно великолепной. Я только и мечтал быть «вторым дядей Юзей».

Дядя Юзя всегда появлялся у нас в Киеве или у бабушки в Черкассах внезапно и так же внезапно исчезал, чтобы через год-полтора снова оглушительно позвонить у дверей и наполнить квартиру хрипучим голосом, кашлем, клятвами и заразительным смехом. И каждый раз вслед за дядей Юзей извозчик втаскивал по полу тяжелые чемоданы со всякими редкостями.

Дядя Юзя был высокий бородатый человек с продавленным носом, с железными пальцами – ими он гнул серебряные рубли, – с подозрительно спокойными глазами, в глубине которых никогда не исчезало лукавство.

Он, как говорил отец, «не боялся ни бога, ни черта, ни смерти», но жалко терялся и размякал от женских слез и детских капризов.

Первый раз я увидел его после англо-бурской войны.

Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот поступок – героический и бескорыстный – сильно возвысил его в глазах родственников.

Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели буров, дравшихся за свою независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли, – осаду Ледисмита, сражение под Блумфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Деветт, Жубер и Бота. Мы презирали надменного лорда Китченера и издевались над тем, что английские солдаты воюют в красных мундирах. Мы зачитывались книгой «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля».

Но не только мы – весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шарманщики, игравшие до тех пор только «Разлуку», начали играть новую песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». За это мы отдавали им пятаки, припрятанные на мороженое.

Англо-бурская война была для мальчиков вроде меня крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам из «Вокруг света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве.

В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновьи хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов капала вода. Серые каменные удавы поднимали головы из темных ниш.

Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охотником. Он ездил охотиться даже в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чужак, но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке.

Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдания и борьба за человеческие права вторглись на огромный черный материк, где до тех пор, по нашим понятиям, только трубили мудрые слоны, дышали миазмами тропические леса и бегемоты сопели в жирной тине великих неисследованных рек. До тех пор Африка существовала как земля путешественников, разных Стенли и Ливингстонов.

Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах, – расставаться с охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя воспаленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест.

Сколько раз я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара!

Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось живучим. Поэтому трудно передать то ошеломление, тот немой восторг, которые я испытал, когда в нашей скучной квартире в Киеве появился бородатый, сожженный африканским солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубаше с открытой шеей, с патронташем на поясе – дядя Юзя.

Я ходил за ним следом, я смотрел ему в глаза. Мне не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские краали, английских кавалеристов и бури Тихого океана.

В то время президент Трансвааля, старый и грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о помощи бурам. Дядя Юзя приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером.

Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу: «Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость – бурам мы помогать не будем. Значит, все кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток».

Дед мой – отец моей матери – был человек небогатый. У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям – пятерым девочкам и троим сыновьям, если бы он не отдал всех сыновей в Киевский кадетский корпус. Обучение в корпусе было бесплатное.

Дядя Юзя учился со своими братьями в этом корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной, «каторжный» корпус в город

Вольск, на Волге. В Вольск кадет ссылали за «тяжкие преступления». Дядя Юзя совершил такое преступление.

Кухня в Киевском корпусе помещалась в подвале. К одному из праздников в кухне напекли много сдобных булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шест, привязал к нему гвоздь, натаскал с помощью этого приспособления через открытое окно кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе.

В Вольске дядя Юзя пробыл два года. На третий год его исключили из корпуса и разжаловали в солдаты за то, что он ударил офицера: офицер остановил его на улице и грубо изругал за мелкий непорядок в одежде.

На дядю Юзю надели солдатскую шинель, дали ему винтовку и отправили пешим порядком из Вольска в город Кутно, около Варшавы, в артиллерийскую часть.

Он прошел зимой страну с востока на запад, являясь к начальникам гарнизонов, выпрашивая по деревням хлеб, ночуя где попало.

Из Вольска он вышел вспыльчивым мальчиком, а в Кутно пришел озлобленным солдатом.

В Кутно он дослужился до первого офицерского чина. Его произвели в прапорщики.

На военной службе дяде Юзе не везло самым роковым образом. Из артиллерии его перевели в пехоту. Полк дяди Юзи был вызван в Москву нести охрану во время коронации Николая Второго. Рота дяди Юзи охраняла Кремлевскую набережную.

Ранним утром в день коронации дядя увидел, как его солдаты бросились к берегу реки и там началась жестокая свалка. Придерживая шашку, дядя побежал к солдатам.

Он увидел валявшееся в грязи на берегу страшное существо с медной головой, опутанной проводами. Существо это солдаты сбили с ног, навалились на него, а оно неуклюже отбрыкивалось от них огромными свинцовыми бутсами. Один из солдат зажал резиновую ребристую трубку около медной головы этого существа, и оно, захрипев, перестало сопротивляться. Дядя увидел, что это водолаз, крикнул на солдат, быстро отвинтил медный шлем, но водолаз был уже мертв.

Дядю и солдат не предупредили, что в это утро водолазы из Кронштадта осматривали дно Москвы-реки, разыскивая адские машины.

После этого случая дядя Юзя был уволен из армии. Он уехал в Среднюю Азию и служил некоторое время начальником верблюжьих караванов, ходивших из Уральска в Хиву и Бухару. В то время Средняя Азия еще не была связана с Россией железной дорогой, все товары перегружались в Уральске на верблюдов и шли дальше караванным путем.

Во время этих караванных путешествий дядя Юзя сдружился с исследователями Средней Азии братьями Грум-Гржимайло и охотился с ними на тигров. Он прислал в подарок бабушке тигровую шкуру с таким свирепым выражением на морде убитого тигра, что бабушка тотчас спрятала эту шкуру в подвал, предварительно пересыпав ее нафталином.

Дядя Юзя любил рассказывать, как одним своим чихом он убивал на месте шакалов. На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывая под голову сумку с продуктами и притворялся спящим. Шакалы подползали, поджав хвосты. Когда самый наглый из них начинал осторожно вытаскивать зубами сумку из-под дядиной головы, дядя оглушительно чихал, и трусливый шакал, даже не взвизгнув, тут же на месте умирал от разрыва сердца.

Мы верили этому, потому что хорошо знали, как чихал по утрам дядя Юзя, готовясь к новому дню. В ответ на этот чих звенели стекла в окнах и кошка, обезумев, металась по комнате в поисках спасения.

Рассказы дяди Юзи были для нас интереснее походов барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузен надо было себе представлять, а дядя Юзя был рядом – живой, тонущий в облаках табачного дыма, сотрясающий своим хохотом диван.

Потом в жизни дяди Юзи наступила неясная полоса. Он скитался по Европе, играл, говорят, в рулетку в Монте-Карло, очутился в Абиссинии и вернулся оттуда с огромным золотым орденом, пожалованным ему за что-то негусом Менеликом. Орден был похож на дворницкую бляху.

Дядя Юзя не находил себе места в жизни, пока взоры его не обратились на туманный Дальний Восток, на Маньчжурию и Уссурийский край. Эта страна как будто нарочно существовала для таких людей, как дядя. Там можно было жить широко, шумно, не подчиняясь никаким «дурацким законам», – во всю силу необузданного характера и своей предприимчивости.

Это была русская Аляска – необжитая, богатая и опасная. Лучшего места на свете нельзя было и придумать для дяди Юзи. Амур, тайга, золото, Тихий океан, Корея, а дальше – Камчатка, Япония, Полинезия. Обширный неизученный мир шумел, как прибой, у берегов Дальнего Востока и тревожил воображение.

Дядя Юзя, захватив с собой молодую жену-подвижницу, – так как никто, кроме подвижницы, по мнению моей мамы, не мог быть женой такого ужасного человека, как дядя Юзя, – уехал на Дальний Восток.

Там он участвовал в обороне Харбина во время китайского восстания, в стычках с хунхузами, в постройке Восточно-Китайской железной дороги. Занятие это он прервал только для того, чтобы поехать в Трансвааль.

После англо-бурской войны он вернулся на Дальний Восток, но уже не в Маньчжурию, а в Порт-Артур. Там он работал агентом Добровольного флота. Дядя Юзя писал, что очень полюбил пароходное дело и жалеет, что в молодости не стал моряком.

К тому времени жена его умерла. На руках у дяди Юзи остались две девочки, его дочери. Он трогательно и неумело воспитывал их вместе со старым китайцем-слугой, которого называл Сам Пью-чай. Этого преданного ему китайца дядя Юзя любил, пожалуй, не меньше, чем своих дочерей. Вообще он очень любил китайцев и говорил, что это великолепный, добрый и мудрый народ и единственный его недостаток – это боязнь дождей.

Во время японской войны дядя Юзя был призван, как старый офицер, в армию. Дочерей вместе с Сам Пью-чаем он отправил в Харбин.

После войны он приезжал в Киев навестить родных. Это был последний раз, когда я его видел.

Он был уже седой, спокойный, но бешеные веселые искорки, хоть и изредка, все еще перебегали в его глазах.

Он рассказывал нам о Пекине, о садах китайских императоров, Шанхае и Желтой реке.

После этих рассказов Китай представлялся мне страной, где вечно стоит теплый и ясный вечер. Может быть, это впечатление объяснялось тем, что дядя Юзя уже ничего не выдумывал, не вращал глазами и не хохотал, а говорил усталым голосом, поминутно стряхивая пепел с папиросы.

Это было в 1905 году. Дядя Юзя плохо разбирался в политике. Он считал себя старым солдатом и действительно был им – честным, верным присяге. Когда мой отец начинал резкие и опасные свои речи, дядя Юзя отмалчивался, уходил в сад, садился на скамейку и там курил в одиночестве. Отца он считал «левее левых».

Осенью пятого года в Киеве восстали саперный батальон и понтонная рота. Саперы прошли с боем через город, отбиваясь от наседавшей на них казачьей сотни.

К саперам присоединились рабочие Южно-Русского машиностроительного завода. Впереди мятежников бежало множество детей. На Галицком базаре Азовский саперный полк открыл по восставшим огонь. Залпами было убито много детей и рабочих. Саперы не могли отвечать на огонь, так как между ними и азовцами были толпы жителей. В этот день дядя Юзя, узнав о событиях, очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и вполголоса бранился.

– Азовцы, – бормотал он. – Дурачье. Позор! А те тоже хороши, саперы, – не стрелки, а куроцапы!

Потом он незаметно исчез из дому и к вечеру не вернулся. Он не вернулся ни ночью, ни на следующий день. Он вообще не вернулся. Только через полгода пришло от его дочери письмо из Харбина. Она сообщала, что дядя Юзя поселился в Японии и просит его простить за внезапное исчезновение.

Гораздо позже мы узнали, что дядя Юзя пробрался к саперам, увидел убитых детей, пришел в ярость, вместе с руководителем восстания поручиком Жадановским собрал часть сапер и открыл с ними такой огонь по правительственным войскам, что те были вынуждены отойти. Дяде Юзе, естественно, пришлось бежать. Он уехал в Японию, где вскоре и умер в городе Кобе от сердечной астмы и страшной болезни – ностальгии – тоски по родине.

Перед смертью этот огромный и неистовый человек плакал при малейшем напоминании о России. А в последнем, как будто шутилом, письме он просил прислать ему в конверте самый драгоценный для него подарок – засушенный лист киевского каштана.



## Святославская улица

Поездки в Черкассы и Городище были в моем детстве праздниками, а будни начинались в Киеве, на Святославской улице, где в сумрачной и неудобной квартире проходили длинные зимы.

Святославская улица, застроенная скучными доходными домами из желтого киевского кирпича, с такими же кирпичными тротуарами, упиралась в огромный пустырь, изрезанный оврагами. Таких пустырей среди города было несколько. Назывались они «ярами».

Весь день мимо нашего дома тянулись к Святославскому яру обозы «каламашек» с глиной. Каламашками в Киеве назывались тележки для перевозки земли. Каламашники засыпали овраги в яру и ровняли его для постройки новых домов.

Земля высыпалась из каламашек, на мостовой всегда было грязно, и потому я не любил Святославскую улицу.

В яр нам строго запретили ходить. Это было страшное место, приют воров и нищих. Но всё же мы, мальчишки, собирались иногда отрядами и шли в яр. Мы брали с собой на всякий случай полицейский свисток. Он казался нам таким же верным оружием, как револьвер.

Сначала мы с опаской смотрели сверху в овраги. Там блестело битое стекло, валялись ржавые тазы и рылись в мусоре собаки. Они не обращали на нас внимания.

Потом мы настолько осмелели, что начали спускаться в овраги, откуда тянуло дрянным желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и лачуг. Лачуги были слеплены из чего попало – ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрасов, из которых торчали пружины. Вместо дверей висели грязные мешки.

У очагов сидели простоволосые женщины в отрепях. Они обзывали нас «барчуками» или просили «на монополюку». Только одна из них – седая косматая старуха с львиным лицом – улыбалась нам единственным зубом.

Это была известная в Киеве нищенка-итальянка. Она ходила по дворам и играла на гармонике. За особую плату она играла «Марсельезу». В этих случаях кого-нибудь из мальчишек высылали к воротам, чтобы предупредить, если появится околоточный надзиратель.

Нищенка не только играла «Марсельезу» на гармонике – она кричала ее яростным хриплым голосом. «Марсельеза» в ее исполнении звучала как гневный призыв, как проклятье обитателей Святославского яра.

Среди жильцов этих лачуг мы узнавали старых знакомых. Вот Яшка Падучий – нищий с белыми водочными глазами. Он постоянно сидел на паперти Владимирского собора и выкрикивал одну и ту же фразу: «Господа милосердные, обратите внимание на мое калецтво-овецтво!»

В яру Яшка Падучий был совсем не таким гнусавым и тихим, как на паперти. Он выпивал одним духом четвертинку водки, с размаху бил себя в грудь и вопил со слезой: «Приидите ко мне все страждущие и обремененные, и аз упокою вы!»

Вот лысый старик, торгующий зубочистками на Фундуклеевской улице около кафе Франсуа, а рядом – шарманщик с попугаем.

Около лачуг дымили глиняные очаги с дырявыми самоварными трубами.

Больше других мне нравилась лачуга шарманщика. Днем шарманщика никогда не было – он ходил по дворам. Около лачуги сидела на земле босая девушка с землистым лицом и красивыми хмурыми глазами. Она чистила картошку. Одна нога у нее была обмотана тряпками.

Это была дочь шарманщика, гимнастка, «человек без костей». Она ходила раньше с отцом по дворам, раскладывала коврик и показывала на нем – худая, в голубом трико – разные акробатические трюки. Сейчас она повредила ноги и не могла «работать».

Иногда она читала все одну и ту же книгу с оторванным переплетом. По картинкам я догадался, что это были «Три мушкетера» Дюма.

Девушка недовольно кричала на нас:

– Чего вы тут ходите! Не видели, что ли, как люди живут?

Но потом она привыкла к нам и перестала кричать. Ее отец, низенький, седой шарманщик, застав нас в яру, сказал:

– Пусть видят, как мается наше общество. Может быть, это им пригодится, когда будут студентами.

Сначала мы ходили в яр целой ватагой. Потом я привык к обитателям яра и начал ходить туда один.

Я долго скрывал это от мамы, но меня выдала дочь шарманщика. Я принес ей почитать «Хижину дяди Тома», но заболел и долго не приходил за книгой. Она забеспокоилась и сама принесла книгу к нам на квартиру. Мама открыла ей дверь, и все обнаружилось. Я понял это по сжатым губам мамы и по ее ледяному молчанию.

Вечером между мамой и отцом происходил в столовой разговор о моем поведении. Я слышал его из-за двери. Мама волновалась и сердилась, но отец сказал, что ничего нет страшного, что меня трудно испортить и что он предпочитает, чтобы я дружил с этими обездоленными людьми, а не с сыновьями киевских купцов и чиновников. Мама возразила, что в моем возрасте меня надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений.

– Пойми, – сказал отец, – что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какую не найдешь в нашем кругу. При чем же тут тяжелые житейские впечатления?

Мама помолчала и ответила:

– Да, может быть, ты прав...

Когда я выздоровел, она принесла мне «Принца и нищего» Марка Твена и сказала:

– Вот... отнеси это сам... дочери шарманщика. Я не знаю, как ее зовут.

– Лиза, – ответил я робко.

– Ну вот, отнеси эту книгу Лизе. В подарок.

С тех пор никто в доме больше не возмущался моими посещениями Святославского яра. Теперь мне не надо было тайком таскать из буфета сахар для моих новых друзей или китайские орешки для подслеповатого попугая Митьки. Я открыто просил все это у мамы. Она мне никогда не отказывала.

Я был благодарен маме за это, и на душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью.

Однажды ранней осенью шарманщик пришел к нам во двор без попугая. Он равнодушно крутил ручку шарманки. Она высвистывала польку «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной». Шарманщик обводил глазами балконы и открытые окна, дожидаясь, когда наконец полетит во двор медная монета, завернутая в бумажку.

Я выбежал к шарманщику. Он сказал мне, не переставая вертеть шарманку:

– У Митьки хвороба. Сидит, как еж. Твои орешки и то лущить бросил. Видать, подыхает.

Шарманщик снял черную пыльную шляпу и вытер ею лицо.

– Пропавшее существование! – сказал он. – Одной шарманкой, без Митьки, не то что на хлеб – на водку не заработаешь. Кому теперь вытягивать «счастье»?

Попугай за пять копеек вытаскивал желающим зеленые, синие и красные билетки с напечатанными на них предсказаниями. Билетки эти назывались почему-то «счастьем». Они были свернуты в трубочки и уложены, как папиросы, в коробку от гильз. Прежде чем вытащить билетик, Митька долго топтался по жердочке и недовольно кричал.

Предсказания были написаны весьма темным языком.

«Вы родились под знаком Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд, что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убеленные сединой. Бойтесь блондинок и блондинов и предпочитайте не выходить на улицу в день усекновения главы Иоанна Предтечи».

Иногда в билетиках были короткие и зловещие фразы: «Завтра к вечеру» или «Если хочешь остаться живым, никогда не оглядывайся».

Через сутки Митька издох, я похоронил его в яру в картонной коробке от ботинок. Шарманщик напился и исчез.

Я рассказал маме о смерти попугая. Губы у меня дрожали, но я сдерживался.

– Одевайся, – строго сказала мама. – Пойдем к Бурмистрову.

Бурмистров был старичок с зеленой от старости бородой. Он держал темный и тесный магазин на Бессарабке. Там глуховатый этот человек, похожий на гнома, торговал великолепными вещами – удочками, разноцветными поплавками, аквариумами, золотыми рыбками, птицами, муравьиными яйцами и даже переводными картинками.

Мама купила у Бурмистрова пожилого зеленого попугая с оловянным кольцом на ноге. Мы одолжили у Бурмистрова клетку. Я нес в ней попугая. По дороге он изловчился и прокусил мне палец до самой кости. Мы зашли в аптеку. Мне перевязали палец, но я был так взволнован, что почти не почувствовал боли.

Мне очень хотелось поскорее отнести попугая к шарманщику, но мама сказала:

– Я пойду вместе с тобой. Я должна это видеть сама.

Она ушла к себе переодеться. Мне было стыдно, что мама переодевается, чтобы пойти к нищим, оборванным людям, но я не смел ей ничего сказать.

Через несколько минут она вышла. На ней было старенькое платье, заштопанное на локтях. На голову она накинула платок. На этот раз она даже не натянула на руки свои элегантные лайковые перчатки. И туфли она надела со стоптанными каблуками.

Я с благодарностью взглянул на нее, и мы пошли.

Мама мужественно спустилась в овраг, прошла мимо онемевших от изумления растрепанных женщин и даже ни разу не приподняла юбку, чтобы не запачкать ее о кучи мусора и золы.

Лиза, увидев нас с попугаем, вспыхнула, серое ее лицо покрылось жарким румянцем, и она неожиданно сделала маме реверанс. Шарманщика не было дома – он все еще заливал свое горе с приятелями на Демиевке.

Лиза взяла попугая и, все больше краснея, повторяла одни и те же слова:

– Ну зачем это вы! Зачем это вы!

– Его можно будет выучить вытаскивать «счастье»? – спросила мама.

– Да в два дня! – радостно ответила Лиза. – Но зачем это вы! Господи! Зачем? Это же каких денег стоит!

Дома отец, узнав об этом случае, усмехнулся и сказал:

– Дамская филантропия! Сентиментальное воспитание!

– Ах, господи! – воскликнула с досадой мама. – Не знаю, почему ты обязательно хочешь противоречить самому себе. Удивительный у тебя характер. На моем месте ты бы сделал то же самое.

– Нет, – ответил отец, – я бы сделал большее.

– Большее? – переспросила мама, и в голосе ее послышалась угроза. – Ну хорошо! Посмотрим!

– Посмотрим!

Я не догадывался, что отец говорил все это нарочно, чтобы раздражить маму.

На следующий день после этой стычки мама отослала Лизе в Святославский яр черное платье моей сестры и свои коричневые ботинки.

Но отец не остался в долгу перед мамой. Он дождался, когда шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем.

Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Нос его победно блестел от водки. В честь мамы шарманщик проиграл все, что могла насвистывать его шарманка: марш «Тоска по родине», вальс «Дунайские волны», польку «Разлука» и песню «Эх, полным-полна коробушка».

Попугай снова вытягивал «счастье». Медяки в бумажках щедро сыпались из окон. Некоторые из них шарманщик ловко ловил шляпой.

Потом он вскинул шарманку на спину и, как всегда сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей.

Сняв шляпу и держа ее в вытянутой руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет. Шарманщик прислонил шарманку к стене в передней и, осторожно шагая, пошел за отцом.

Отец угостил шарманщика коньяком, сказал, что знает, какая трудная у него и неверная жизнь, и предложил ему место путевого сторожа на Юго-Западной дороге. Будет свой маленький дом, огород.

– Не обессудьте, Георгий Максимович, – тихо ответил шарманщик и покраснел. – Загорю я будочником. Мне, видно, век бедовать с шарманкой.

Он ушел. Мама не могла скрыть своего торжества, хотя и молчала.

Через несколько дней полиция неожиданно выселила из Святославского яра всех его обитателей. Шарманщик с Лизой исчезли, – очевидно, они перекочевали в другой город.

Но до этого я успел еще раз побывать в яру. Шарманщик пригласил меня к себе «пověчерять».

На перевернутом ящике стояла тарелка с печеными помидорами и черным хлебом, бутылка вишневой наливки и лежали грязные конфеты – толстые, в розовую и белую полоску, сахарные палочки.

Лиза была в новом платье, с туго заплетенными косами. Она обидчиво следила за тем, чтобы я ел «как у мамы». Попугай спал, прикрыв глаза кожаной пленкой. Шарманка изредка сама по себе издавала певучий вздох. Шарманщик объяснил, что это из каких-то трубок выходит застоявшийся воздух.

Был уже сентябрь. Приближались сумерки. Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймет нежной прелести этих часов.

Первая звезда зажигается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что звезды обязательно будут падать на землю и сады поймают эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы и опустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснется и не узнает об этом.

Лиза проводила меня до дому, сунула мне на прощанье розовую липкую конфету и быстро сбежала по лестнице. А я долго не решался позвонить, боясь, что мне попадет за позднее возвращение.

## Зимние зрелища

На рождество отец подарил мне коньки «Галифакс».

Теперешние мальчики долго бы смеялись, увидев эти коньки. Но тогда не было на свете лучших коньков, чем коньки из города Галифакса.

Где этот город? Я расспрашивал всех. Где этот старый город Галифакс, заваленный снегом? Там все мальчики бегают на таких коньках. Где эта зимняя страна, населенная отставными моряками и шустрыми школьниками? Никто мне не мог ответить.

Старший брат Боря предполагал, что Галифакс – это вовсе не город, а фамилия изобретателя коньков. Отец сказал, что, кажется, Галифакс – это правда городок на острове Ньюфаундленде у северных берегов Америки и знаменит он не только коньками, но и собаками-водолазами.

Коньки лежали у меня на столе. Я смотрел на них и думал о городе Галифаксе. Получив коньки, я тотчас выдумал этот город и уже видел его так ясно, что мог бы нарисовать подробный план его улиц и площадей.

Я мог долго сидеть за столом над задачкой Малинина и Буренина – я готовился в эту зиму к экзаменам в гимназию – и думать о Галифаксе.

Это мое свойство пугало маму. Она боялась моих «фантазий» и говорила, что таких мальчиков, как я, ждет нищета и смерть под забором.

Это мрачное предсказание «ты умрешь под забором» было очень распространено в то время. Почему-то смерть под забором считалась особенно позорной.

Я часто слышал это предсказание. Но гораздо чаще мама говорила, что у меня «вывихнутые мозги и все не так, как у людей», и боялась, как бы из меня не вышел неудачник.

Отец очень сердился, когда слышал это, и говорил маме:

– Пусть будет неудачником, нищим, бродягой, кем угодно, но только не проклятым киевским обывателем!

В конце концов я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения. Мне казалось, что я занимаюсь чепухой, тогда как вокруг все заняты серьезными делами: братья и сестра ходят в гимназию, зубрят уроки, отец служит в управлении Юго-Западных железных дорог, мама шьет и распоряжается по дому. Только я один живу в оторванном от общих интересов мире и напрасно трачу время.

– Ты бы лучше пошел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать, – говорила мама. – Что это за мальчик! На что ты похож!

Я уходил на каток. Зимние дни были короткие. Сумерки заставляли меня на катке. Приходил военный оркестр. Зажигались разноцветные лампочки. Гимназистки в шубках катались по кругу, раскачиваясь и пряча руки в маленькие муфты. Гимназисты ездили задом наперед или «пистолетом» – присев на одну ногу и далеко выставив другую. Это считалось высшим шиком. Я им завидовал.

Домой я возвращался раскрасневшийся и усталый. Но тревога не покидала мое сердце. Потому что и после катания на коньках я чувствовал прежнюю опасную склонность к выдумкам.

На катке я часто встречал подругу моей сестры Гали – Катюшу Весницкую, гимназистку старших классов Фундуклеевской женской гимназии. Она тоже каталась на коньках «Галифакс», но сделанных из черной вороненой стали.

Мой старший брат Боря, ученик реального училища и знаток математики, ухаживал за Катюшей. Он танцевал с ней на коньках вальс.

Конькобежцы очищали широкий круг на льду. Уличным мальчишкам, шнырявшим под ногами на самодельных коньках, давали подзатыльники, чтобы они успокоились, и начинался скользящий и медленный танец.

Даже капельмейстер военного оркестра, рыжий чех Коваржик поворачивался лицом к катку, чтобы видеть этот танец. На красном лице капельмейстера (мы называли его «капельдудкиным») бродила сладкая улыбка.

Длинные косы Весницкой разлетались в такт вальсу. Они ей мешали, и она, не переставая танцевать, перекидывала их к себе на грудь. Она надменно смотрела из-под полуопущенных век на восхищенных зрителей.

Я со злорадством следил за Борей. Он танцевал хуже Катюши. Иногда он даже поскальзывался на своих хваленых коньках «яхт-клуб».

Мог ли я думать тогда на катке, что жизнь Весницкой окажется гораздо неожиданнее всех моих фантазий.

В Пажеском корпусе в Петербурге воспитывался один из сыновей сиамского короля Чакрабон. Во время возвращения на родину принц заболел в дороге около Киева воспалением легких. Путешествие было прервано. Принца привезли в Киев, поместили в царский дворец и окружили заботами киевских докторов.

Принц выздоровел. Но прежде чем продолжать путешествие в Сиам, ему надо было отдохнуть и поправиться. Принц прожил в Киеве два месяца. Ему было скучно. Его старались развлекать – возили на балы в Купеческое собрание, на лотереи-аллегри, в цирк и театры.

На одном балу желтолицый принц увидел Весницкую. Она танцевала вальс, так же как на катке, перекинув косы себе на грудь и надменно поглядывая из-под полуопущенных век синими глазами. Принц был очарован. Маленький, раскосый, с блестящими, как вакса, волосами, он влюбился в Катюшу. Он уехал в Сиам, но вскоре вернулся в Киев инкогнито и предложил Катюше стать его женой. Она согласилась.

Смятение охватило киевских гимназисток. Все в один голос говорили, что на ее месте они бы ни за что не могли выйти замуж за азиата, хотя бы и сына короля.

Катюша уехала в Сиам. Сиамский король вскоре умер от какой-то тропической болезни. Вслед за ним умер от той же болезни первый наследный принц.

Муж Катюши был вторым сыном короля. У него было очень мало надежды на сиамский престол. Но после смерти брата он оказался единственным наследником и неожиданно стал королем. Так веселая киевская гимназистка Весницкая сделалась сиамской королевой.

Придворные ненавидели королеву-иностранку. Ее существование нарушало традиции сиамского двора.

В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали постепенно подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике.

На могиле ее король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Весницкая – молодая королева Сиам.

С тех пор каждый раз, когда я попадал на каток, я вспоминал Катюшу и капельмейстера, игравшего вальс «Невозвратное лето», и как она стряхивала варежкой снег со своего лба и бровей, и ее коньки из синей стали – коньки из города Галифакса. В нем жили простодушные отставные моряки. Вот рассказать бы этим старикам историю Весницкой. Сначала они открыли бы от изумления рты, потом покраснели бы от гнева на придворных и долго бы качали головами, сокрушаясь над превратностью человеческой судьбы.

Зимой меня водили в театры.

Первая пьеса, которую я увидел, была «Штурм Измаила». Мне она не понравилась, потому что я заметил у кулисы человека в очках и потертых бархатных брюках. Он стоял рядом с Суворовым, потом сильно толкнул Суворова в спину, тот вприпрыжку вылетел на сцену и запел петухом.

Но зато вторая пьеса, «Принцесса Греза» Ростана, меня ошеломила. Там было все, чтобы потрясти мое воображение: палуба корабля, огромные паруса, трубадуры, рыцари, принцесса.

Я полюбил драматический Соловцовский театр, его голубую бархатную обивку и маленькие ложи. После спектакля меня нельзя было увести из театра никакими силами, пока не гасили свет. Темнота театрального зала, запах духов и апельсиновых корок – все это казалось мне настолько заманчивым, что я мечтал спрятаться под креслом и провести всю ночь в пустом театре.

В детстве я не мог разделить театрального зрелище от действительности и по-настоящему мучился и даже болел после каждого спектакля.

Моя страсть к чтению усилилась после театра. Стоило мне посмотреть хотя бы «Мадам Сан-Жен», и я начинал с жадностью перечитывать все книги о Наполеоне. Эпохи и люди, увиденные в театре, оживали чудесным образом и наполнялись необыкновенным интересом и прелестью.

Я полюбил не только самые спектакли. Мне нравились театральные коридоры с зеркалами в тусклых золотых рамах, темные вешалки, где пахло мехом от шуб, перламутровые бинокли, топот застоявшихся лошадей у театрального подъезда.

В антрактах я бегал в конец коридора и смотрел через окно наружу. Там лежала крошечная тьма. Только снег белел на деревьях. Я быстро оборачивался и видел свет нарядного зала, люстры, блеск женских волос, браслетов, серег и бархатный театральный занавес. В антрактах занавес качало теплым ветром. Я повторял это занятие по несколько раз – то смотрел в окно, то на зал, – и оно мне очень нравилось.

Оперу я не любил. Очевидно, потому, что первой оперой, которую мне показали, был «Демон» Рубинштейна. Жирный, с нахальным и брыластым лицом актер лениво и как-то вразвалку пел Демона. Он играл почти без грима. Было смешно, что на этого солидного человека с брюшком надели длинную черную рубаху из кисеи, обшитую блестками, и привязали к спине крылья. Актер сильно картавил, и когда он пел «Проклятый мир, презренный мир», я не мог удержаться от смеха. Мама была возмущена и перестала водить меня в оперу.

Каждую зиму к нам приезжала из Городища тетя Дозя. Мама любила водить ее в театр.

Перед этим тетя Дозя плохо спала ночь. За несколько часов до спектакля она уже надевала широкое шумящее платье из коричневого атласа, вытканное желтыми цветами и листьями, накидывала коричневую шаль на шею, зажимала в руке кружевной платочек и потом, помолодевшая на десять лет и немного испуганная, ехала на извозчике с мамой в театр. Голову тетя Дозя повязывала, как все украинские бабы, черным платком с маленькими розами.

В театре все смотрели на тетю Дозю, но она так была увлечена спектаклем, что ни на кого не обращала внимания.

Возили ее главным образом на украинские пьесы – «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем» и «Шельменко-денщик». Один раз среди действия тетя Дозя вскочила и крикнула по-украински театральному злодею:

– Что же ты делаешь, подлюга, бесстыжие твои глаза!

Публика неистово хохотала. Дали занавес. Тетя Дозя проплакала весь следующий день от стыда, просила у отца прощения, и мы не знали, как ее успокоить.

С тетей Дозей мы впервые ходили в кино. Тогда кино называли «иллюзионом» или «сине-матографом Люмьера».

Первый сеанс был устроен в Оперном театре. Отец был в восхищении от иллюзиона и приветствовал его как одно из великолепных новшеств двадцатого века.

На сцене натянули серое мокрое полотно. Потом погасили люстры. По полотну замигал зловещий зеленоватый свет и забегали черные пятна. Прямо над нашими головами струился дымный луч света. Он страшно шипел, будто у нас за спиной жарили целого вепря. Тетушка Дозя спросила маму:

– Почему он так скворчит, этот иллюзион? Мы от него не сторим, как в курятнике?

После долгого мигания на полотне появилась надпись: «Извержение на острове Мартинике. Видовая картина».

Экран задрожал, и на нем, как бы сквозь ливень пыли, возникла огнедышащая гора. Из недр ее лилась горящая лава. Зрительный зал зашумел, потрясенный этим зрелищем.

После видовой показывали комическую картину из жизни французской казармы. Барабанщик бил в барабан, солдаты просыпались, вскакивали, натягивали брюки. Из штанины у одного солдата вываливалась большая крыса. Она бегала по казарме, а солдаты в ужасе, неправдоподобно тараща глаза, лезли на койки, на двери и окна. На этом картина кончалась.

– Балаган! – сказала мама. – Только с той разницей, что на Контрактовой ярмарке балаганы гораздо интереснее.

Отец заметил, что точно так же недалековидные люди смеялись над паровозом Стефенсона, а тетюшка Дозя, стараясь примирить отца с мамой, сказала:

– Бог с ним, с иллюзионом! Не нашего это женского ума дело.

На Контрактовой ярмарке балаганы действительно были интересные. Мы любили эту ярмарку и с нетерпением ждали всю зиму, когда она откроется.

Открывалась она в конце зимы в старинном Контрактовом доме на Подоле и в дощатых палатках вокруг этого дома.

Обычно ко дню ее открытия наступала распутица. Острые запахи ярмарочных товаров были слышны издалека. Пахло новыми бочками, кожей, пряниками и коленкором.

Мне нравились на ярмарке карусели, игрушки и паноптикум.

Маслянистые глыбы белой и шоколадной халвы хрустели под ножами продавцов. Прозрачный розовый и лимонный рахат-лукум заклеивал рот. На огромных глиняных блюдах были навалены пирамиды засахаренных груш, слив и вишен – изделия знаменитого киевского кондитера Балабухи.

На разостланных в грязи рогожах стояли рядами грубо вырезанные из дерева и раскрашенные липкой краской солдатики – казаки в папахах и шароварах с малиновыми лампасами, барабанщики со зверски выпученными глазами и трубачи с пышными кистями на трубах. Кучами были свалены глиняные свистульки.

Веселые старики толкались в толпе, выхваляя «тещины языки» и «морского жителя». Это была заманчивая игрушка. В стеклянной узкой банке нырял и переворачивался в воде черный мохнатый чертик.

Множество звуков оглушало нас – выкрики продавцов, лягг кованых дрог, великопостный звон из Братского монастыря, писк резиновых чертиков, свист свистулек и вопли мальчишек на карусели.

За приплату карусель вертели так быстро, что все превращалось в пеструю смесь оскаленных лошадиных морд из папье-маше, галстуков, сапог, вздувшихся юбок, разноцветных подвязок, кружев, платков. Иногда в лицо зрителям летели, как пули, стеклянные бусы от чьего-нибудь разорванного стремительным вращением мониста.

Паноптикума я побаивался, особенно восковых фигур.

Убитый французский президент Карно лежал, улыбаясь, на полу во фраке со звездой. Неестественно густая кровь, похожая на красный вазелин, стекала у него по пластрону. Казалось, Карно был доволен, что умер так эффектно.

Восковая царица Клеопатра прижимала к твердой зеленоватой груди черную змею.



Русалка с лиловыми глазами лежала в цинковой ванне. В грязной чешуе русалки отражалась тусклая электрическая лампочка. Вода в ванне была мутная.

В открытом сундуке, обтянутом проволоочной сеткой, среди ватных одеял спал удав. Он изредка перебирал мускулами, и зрители шарахались.

Чучело гориллы, окруженное листвой из крашенных стружек, уносило в лесную чащу бесчувственную девушку с распущенными золотыми волосами.

Каждый желающий мог за три копейки выстрелить в эту гориллу из монтекристо и спасти девушку. Если он попадал в кружок на груди у обезьяны, она роняла тряпичную девушку на пол. От девушки густо подымалась пыль.

После этого гориллу на минуту задерживали ситцевой занавеской, и потом она опять появлялась, все так же свирепо увлакивая девушку в те же самые выцветшие лесные чащи.

Мы любили Контрактовую ярмарку еще и за то, что она предвещала близкую пасху, поездку к бабушке в Черкасы, а потом – всегда прекрасную и необыкновенную киевскую нашу весну.

## Гардемарин

Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распахивалось голубоватое море.

Но, кроме разлива Днепра, в Киеве начинался и другой разлив – солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра.

На Бибикивском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя. Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья – прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом.

Когда на каштанах расцветали желтые и розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум недавно распутившихся листьев.

Гусеницы ползали по тротуарам даже на Крещатике. Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополевый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики.

Над открытыми настежь окнами кондитерской и кофеен натягивали полосатые тенты от солнца. Сирень, обрызганная водой, стояла на ресторанных столиках. Молодые киевлянки искали в гроздьях сирени цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет.

Наступало время киевских садов. Весной я все дни напролет пропадал в садах. Я играл там, учил уроки, читал. Домой приходил только обедать и ночевать.

Я знал каждый уголок огромного Ботанического сада с его оврагами, прудом и густой тенью столетних липовых аллей.

Но больше всего я любил Мариинский парк в Липках около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели и качались от множества пчел. Среди лужаек били фонтаны.

Широкий пояс садов тянулся над красными глинистыми обрывами Днепра – Мариинский и Дворцовый парки, Царский и Купеческий сады. Из Купеческого сада открывался прославленный вид на Подол. Киевляне очень гордились этим видом. В Купеческом саду все лето играл симфонический оркестр. Ничто не мешало слушать музыку, кроме протяжных пароходных гудков, доносившихся с Днепра.

Последним садом на днепровском берегу была Владимирская горка. Там стоял памятник князю Владимиру с большим бронзовым крестом в руке. В крест ввинтили электрические лампы. По вечерам их зажигали, и огненный крест висел высоко в небе над киевскими кручами.

Город был так хорош весной, что я не понимал маминого пристрастия к обязательным воскресным поездкам в дачные места – Боярку, Пущу Водицу или Дарницу. Я скучал среди однообразных дачных участков Пущи Водицы, равнодушно смотрел в боярском лесу на чахлую аллею поэта Надсона и не любил Дарницу за вытопанную землю около сосен и сыпучий песок, перемешанный с окурками.

Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты.

Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести ее из добродушного состояния было почти невозможно.

Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.

Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.

И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.

По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.

В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке прямо со страниц Стивенсона.

Гардемарин прошел мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.

Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.

Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.

Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.

Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.

– Мальчик, – спросил он насмешливо, – почему вы тащитесь за мной на буксире?

Я покраснел и ничего не ответил.

– Все ясно: он мечтает быть моряком, – догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.

– Я близорукий, – ответил я упавшим голосом.

Гардемарин положил мне на плечо худую руку:

– Дойдем до Крещатика.

Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.

На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.

Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне:

– Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.

Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.

После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было, конечно, недостаточно.

Часами я просиживал над Атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.

Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире.

Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Желтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязаы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, веселых рогож.

Я придумал для своих пароходов список удивительнейших рейсов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан д'Акуню.

Я снимал пароходы с одного рейса и посылал в другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где находится сегодня «Адмирал Истомин», а где – «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фаррерских островах.

Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю.

Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».

– Он дойдет бог знает до чего со своими играми, – сказала однажды мама. – Как бы все это не кончилось менингитом.

Я слышал, что менингит – это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.

Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю.

Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это обычно случается, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.

## Как выглядит рай

Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Черное море, в маленький городок Геленджик, вблизи Новороссийска.

Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того, чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.

Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами – норд-остами. Только колючие кусты держидерева и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.

Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой ее воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зеленых бутылок.

Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.

В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шляпка, белая с красным килем и вымытым до седины решетчатым настилом.

Анастас катал на шляпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.

Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шляпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатались навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо соленой пылью.

Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:

– Почем твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!

Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли – чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал:

– Ничего! Маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить – скушай за папу-маму!

Он небрежно и уверенно повернул шляпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.

Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню:

От Батума до Сухума —

Ай-вай-вай!

От Сухума до Батума —

Ай-вай-вай!

Бежал мальчик, тащил ящик —

Ай-вай-вай!

Упал мальчик, разбил ящик —

Ай-вай-вай!

Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:

– Теперь он у вас соленый, мадам. Уже имеет к морю привычку.

Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.

Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.

Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала, – там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на темную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно было выкупаться в его прохладной воде.

Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.

– Самый перевал! – сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.

С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утесы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.

– Норд-ост сюда не достигает, – сказал извозчик. – Тут рай!

Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.

Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее дорога. Прозрачный ручей уже бежал по ее обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струей лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.

Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.

– Пахнет озоном, – сказал отец.

Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождем.

Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-за камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.

– Вон ящерица! – сказала мама.

– Где?

– Вон там. Видишь орешник? А налево – красный камень в траве. Смотри выше. Видишь желтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.

Я увидел ящерицу. Но пока я ее нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.

«Так вот он какой, Кавказ!» – подумал я.

– Тут рай! – повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. – Сейчас распряжем коней, будем купаться.

Мы въехали в такую чашу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.

Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и увлакивала вместе с водой множество воздушных пузырей.

Пока извозчик распрягал лошадей и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.

Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедем, она никуда нас не пустит.

Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился – упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.

Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.

Мама заволновалась – идти с нами она не могла, у нее была одышка, – но извозчик успокоил ее, заметив, что кабана нужно нарочно раздражить, чтобы он бросился на человека.

Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, – в них синими искрами проносилась форель, – огромных зеленых жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами.

Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли ее. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана.

Отец ушел вперед. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.

Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.

– Это долмены, – сказал отец. – Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор ученые не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены.

Я был уверен, что долмены – это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.

В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдаленный ропот моря.

С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны – Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.

Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.

Но я был совсем не похож на захлебывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.

## Брянские леса

Осенью 1902 года я должен был поступить в подготовительный класс Первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат, Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома.

– Неужели ты хочешь быть экстерном? – испуганно спрашивала мама.

Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год сдавали экзамены при гимназии.

Со слов братьев я хорошо представлял себе кошмарную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи. Им даже не подсказывали.

Я представлял себе этих истощенных от зубрежки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил:

– Ну хорошо, я не буду экстерном.

– Кисейная барышня! – кричал из своей комнаты Боря. – Нюня!

– Не смей его обижать! – вскипала мама.

Она считала Боря бессердечным и все удивлялась, откуда у него такой черствый характер. Очевидно, от бабки-турчанки. Вся остальная наша семья отличалась необыкновенной отзывчивостью, привязчивостью к людям и непрактичностью.

Отец знал о моих страхах, слезах и волнениях и нашел, как всегда, неожиданное лекарство от этих бед. Он решил после легкой стычки с мамой отправить меня одного к моему дяде, маминому брату Николаю Григорьевичу.

Это был тот самый веселый юнкер, дядя Коля, что приезжал к бабушке в Черкассы из Петербурга и любил танцевать вальс с тетей Надей. Сейчас он уже сделался военным инженером, женился и служил в городе Брянске Орловской губернии, на старинном артиллерийском лафетном заводе. Завод этот назывался арсеналом.

На лето дядя Коля снял дачу около Брянска, в старом, запущенном имении Рёвны в Брянских лесах, и звал нас всех приехать туда же. Родители согласились. Но они не могли уехать раньше, чем у сестры и братьев окончатся экзамены. Меня послали вперед одного.

– Пусть привыкает, – сказал отец. – Это полезно для таких стеснительных мальчиков.

Отец написал дяде Коле письмо. Что он в нем писал, я не знаю. Мама, украдкой вытирая слезы, сложила мне маленький чемодан, где ничего не было забыто и лежала записка со всякими наставлениями.

Мне взяли билет во втором классе до станции Синезерки. Дядина дача была в десяти верстах от этой станции.

На вокзал меня провожали все, даже Боря. Отец о чем-то поговорил с седоусым проводником и дал ему денег.

– Довезу, как пушинку, – сказал проводник маме. – Не извольте волноваться, сударыня.

Мама попросила соседей по купе присматривать за мной и не позволять мне выходить на станциях. Соседи охотно согласились. Я очень стеснялся и осторожно тянул маму за рукав.

После второго звонка все расцеловали меня, даже Боря, хотя он тут же, незаметно для остальных, дал мне так называемую «грушу» – больно ковырнул меня большим пальцем по макушке.

Все вышли из вагона на платформу. Но мама все не могла уйти. Она держала меня за руки и говорила:

– Будь хорошим. Слышишь? Будь умным мальчиком. И очень осторожным.



Она смотрела на меня испытующими глазами. Пробил третий звонок. Она обняла меня и быстро, шурша платьем, пошла к выходу. Она соскочила почти на ходу. Отец подхватил ее и покачал головой.

Я стоял у закрытого окна, смотрел, как мама впереди всех быстро шла по платформе, и только сейчас увидел, какая она красивая, маленькая, ласковая. Мои слезы капали на пыльную раму.

Я долго смотрел в окно, хотя уже не видно было ни мамы, ни платформы, а за окном проносились товарные пути, крикливые маневровые паровозы и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильковской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи по купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дяде Коле послали телеграмму о моем приезде. Легкая гордость оттого, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся.

Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно. Пыльные зайчики от солнца все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать из одного угла купе в другой, а потом так же быстро ползли обратно – поезд вырывался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям.

Меня устроили в дамское купе. На этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц. Одна из них, черная, сухая француженка, быстро закивала мне, улыбнулась, показав лошадиные зубы, и протянула коробку с мармеладом. Я не знал, что делать, но поблагодарил и взял мармелад, испачкав руки.

– Клади его скорей в рот! – сказала вторая спутница – гимназистка лет шестнадцати, в коричневом форменном платье, с раскосыми веселыми глазами. – Жуй, не задумывайся!

Француженка, очевидно гувернантка, что-то строго сказала гимназистке по-французски. Гимназистка тотчас сгримасничала, и тогда француженка начала говорить по-французски быстро, сердито и долго. Гимназистка, не дослушав, встала и вышла в коридор.

– Ох, молодежь! – сказала третья моя спутница, маленькая толстая старушка со ртом, похожим на баранку. За ее спиной в плетеной сумочке висели баранки, посыпанные маком. – Ох уж эта мне молодежь!

– О-о! – закивала француженка. – Это одно непослушание. Один фиф! Один каприз!

Что значило слово «фиф», я не знал, но догадался, что это что-то плохое, потому что старушка подняла глаза к потолку и так тяжело вздохнула, что даже француженка взглянула на нее с интересом.

Мне хотелось смотреть в окно, и я вышел в коридор. Гимназистка уже стояла у открытого окна.

– А, Витя! – сказала она мне. – Становись рядом, будем смотреть.

– Я не Витя, – ответил я, краснея.

– Все равно становись.

Я влез на карниз отопления и высунулся в окно. Поезд шел по мосту через Днепр. Я увидел Лавру, далекий Киев и мелкий Днепр, успевший намыть около устоев моста песчаные острова.

– Чертова хрычовка! – сказала гимназистка. – Мадам Демифам! Но, в общем, ты ее не бойся. Она добрая старушенция.

Я очень устал от этой своей первой поездки, потому что всю дорогу, кроме ночей, простоял около открытого окна. Но я был счастлив. Я впервые испытывал ту путевую беззаботность, когда ни о чем не надо думать, а только смотреть за окно на ржаные поля, рощи, маленькие станции, где босые бабы продают молоко, на речонки, стрелочников, начальников станций в пыльных красных фуражках, гусей, деревенских ребят, что бегут за поездом и кричат: «Дяденька, кинь копейку!»

Дорога на Брянск была тогда круговая и длинная – через Львов и Навлю. Только на третий день поезд пришел в Синезерки.

Он шел не торопясь, подолгу стоял на станциях, отдувался около водокачек. Пассажиры выскакивали, бежали за кипятком и в буфет, покупали у баб землянику и жареных цыплят. Потом все успокаивались. Давно было пора ехать, на станции воцарялась сонная тишина, жгло солнце, плыли облака, волоча по земле синюю тень, пассажиры дремали, а поезд все стоял и стоял. Только паровоз громко вздыхал, и из него капала на песок горячая маслянистая вода.

Наконец из станции выходил толстый обер-кондуктор в парусиновом сюртуке, вытирал усы, прикладывал ко рту свисток и залиvisto свистел. Паровоз не отвечал, все так же отдуваясь. Тогда обер-кондуктор лениво шел к паровозу и снова свистел. Паровоз не откликался. Только на третий или четвертый свисток он наконец огрызнулся коротким недовольным гудком и медленно трогался.

Я высовывался из окна, потому что знал: сейчас же за семафором пойдут откосы, заросшие клевером и колокольчиками, а потом сосновый лес. Когда поезд входил в него, стук колес делался гораздо громче, его подхватывало эхо, будто по всему лесу начинали стучать молотками веселые кузнецы.

Я впервые видел Среднюю Россию. Она мне нравилась больше Украины. Она была пустыньнее, просторнее и глуше. Мне нравились ее леса, заросшие дороги, разговоры крестьян.

Старушка-соседка все время спала. Французенка успокоилась и вязала кружево, а гимназистка пела, высунувшись из окна, и ловко срывала листья с деревьев, пролетающих около поезда.

Через каждые два часа она доставала корзину с едой, долго ела и заставляла есть и меня. Мы ели крутые яйца, жареную курицу, пирожки с рисом и пили чай.

Потом мы снова висели в окне, дурея от запаха цветущей гречихи. Тень от поезда бежала, постукивая, по полям, а вагон был залит таким оранжевым заходящим солнцем, что в нашем купе, как в огненном тумане, ничего нельзя было разобрать.

В Синезерки поезд пришел в сумерки. Проводник вынес мой чемодан на платформу. Я ждал, что меня встретит дядя Коля или его жена, тетя Маруся. Но на платформе никого не было. Мои соседки встревожились.

Поезд стоял в Синезерках одну минуту. Он ушел, а я остался около своего чемодана. Я был уверен, что дядя Коля опоздал и сейчас приедет.

Ко мне подошел, ковыляя, бородатый крестьянин в пиджаке, в черном картузе, с кнутом, засунутым за голенище. От него пахло лошадиным потом и сеном.

– Это ты и есть Костик? – спросил он меня. – А я тебя дождаюсь. Дядя-капитан приказали тебя встретить и доставить в сохранности. Давай сундучок, пойдем.

Это было последнее испытание, приготовленное мне отцом. Он написал дяде Коле, чтобы никто меня не встречал в Синезерках.

Возница – его звали Никитой, – что-то бормоча о дяде моем, капитане, усадил меня в телегу, в мягкое сено, покрытое рядом, отвязал торбу с овсом, сел на облучок, и мы поехали.

Сначала мы долго ехали по вечернему полю. Потом дорога пошла по взгорью среди лесов. Иногда телега скатывалась на деревянный мост, и под ним блестела черная болотная вода. Тянуло сыростью, запахом осоки. За лесами и низкими чащами поднялась багровая мертвая луна, прогудела выпь, и Никита сказал:

– Наша сторона лесистая, безлюдная. Здесь корья и воды много. Самая это духовитая местность во всей Орловской губернии.

Мы въехали в сосновый бор, стали спускаться по крутому изволуку к какой-то реке. Сосны закрыли луну, совсем стемнело. На дороге слышались голоса. Мне стало немного страшно.

– Ты, Никита? – крикнул из темноты знакомый дядин голос.

– Тпру-у! – отчаянно закричал Никита, сдерживая лошадей. – Известно, мы! Тпру, леший тебя раздери!

Кто-то схватил меня, снял с телеги, и я увидел в неясном свете заката смеющиеся глаза дяди Коли и белые его зубы. Он поцеловал меня и тотчас передал тете Марусе.

Она тормозила меня, смеялась своим грудным смехом, и от нее пахло ванилью, – должно быть, она недавно возилась со сладким тестом.

Мы сели на телегу, а Никита пошел рядом.

Мы проехали старый черный мост через чистую, глубокую реку, всю в зарослях, потом второй мост. Под ним тяжело ударила рыба. Наконец телега въехала, зацепившись за каменный столб у ворот, в такой темный и высокий парк, что казалось, деревья запутались своими вершинами среди звезд.

В самой гуще парка, под шатрами непроглядных лип, телега остановилась около маленького деревянного дома с освещенными окнами. Две собаки, белая и черная – Мордан и Четвертак, – начали лаять на меня и прыгать, стараясь лизнуть в лицо.

Все лето я прожил в Рёвнях, в бывшем потемкинском поместье, среди дремучих Брянских лесов, рек, кротких орловских крестьян, в старинном и таком обширном парке, что никто не знал, где он кончается и переходит в лес.

Это было последнее лето моего настоящего детства. Потом началась гимназия. Семья наша распалась. Я рано остался один и в последних классах гимназии уже сам зарабатывал на жизнь и чувствовал себя совершенно взрослым.

С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной – со всей своей грустью, спокойствием и простором, – как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу.

И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы.

Детство кончалось. Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим. Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и все нам казалось гораздо более ярким.

Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе и в тысячу раз загадочнее была земля, родная земля – самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа.

## Кишата

Я не завидовал, как другие мальчишки, тому, что киевские кадеты носили белые погоны с желтыми вензелями и становились во фронт перед генералами. Не завидовал я и гимназистам, хотя их шинели из серого офицерского сукна, с серебряными пуговицами, считались очень красивыми. С детства я был равнодушен ко всякой форменной одежде, кроме морской.

Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, мне было неловко, неудобно, и я на время перестал чувствовать себя самым собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове. Я невзлюбил эти твердые синие фуражки с огромным гербом, потому что у всех моих товарищей – учеников приготовительного класса – всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными. Но стоило им надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Будто нарочно для того, чтобы инспектор Бодянский, взяв приготовишку за ухо, мог сказать страшным своим голосом:

– Опять опоздал, мизерабль! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!

Поэтому, как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из нее маленький железный обруч и вырвал атласную подкладку. Такова была традиция – чем больше потрепана фуражка, тем выше гимназическая доблесть. «Только зубрили и подлизы ходят в новых фуражках», – говорили братья.

На фуражке полагалось сидеть, носить ее в кармане и сбивать ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который был гордостью настоящего гимназиста.

Мне купили еще ранец с шелковистой спинкой из оленьей шкурки, пенал, тетради в клетку, тонкие учебники для приготовительного класса, и мама повела меня в гимназию.

Бабушка Викентия Ивановна в это время гостила у нас в Киеве. Она перекрестила меня и повесила мне на шею крестик на холодной цепочке. Трясущимися руками она расстегнула ворот моей черной курточки, засунула крестик мне под рубаху, отвернулась и прижала платок к глазам.

– Ну, иди! – сказала она глухим голосом и слегка оттолкнула меня. – Будь умным. Трудись!

Я ушел с мамой. Все время я оглядывался на наш дом, будто меня уводили из него навсегда.

Мы жили тогда на тенистой и тихой Никольско-Ботанической улице. Вокруг нашего дома стояли, задумавшись, огромные каштаны. С них уже начали падать сухие пятипалые листья. День был солнечный, очень синий, теплый, но с прохладной тенью – обыкновенный день киевской осени. Бабушка стояла у окна и все время кивала мне, пока мы не повернули на Тарасовскую улицу. Мама шла молча.

Когда мы дошли до Николаевского сквера и я увидел сквозь его зелень желтое здание гимназии, я заплакал. Я, должно быть, понял, что окончено детство, что теперь я должен трудиться и что труд мой будет горек и долог и совсем не будет похож на те спокойные дни, какие я проводил у себя дома...

Я остановился, прижался к маме головой и плакал так сильно, что в ранце за моей спиной подпрыгивал и постукивал пенал, как бы спрашивая, что случилось с его маленьким хозяином. Мама сняла с меня фуражку и вытерла слезы душистым платком.

– Перестань, – сказала она. – Ты думаешь, мне самой легко? Но так надо.

Так надо! Никакие слова не входили до тех пор в мое сознание с такой силой, как эти два слова, сказанные мамой: «Так надо».

Чем старше я становился, тем чаще я слышал от взрослых, что следует жить «так, как надо, а не так, как тебе хочется или нравится». Я долго не мог примириться с этим и спрашивал

взрослых: неужели человек не имеет права жить так, как он хочет, а должен жить только так, как хотят другие? Но в ответ мне говорили, чтобы я не рассуждал о том, чего не понимаю. А мама однажды сказала отцу: «Это все твое анархическое воспитание!» Отец притянул меня к себе, прижал мою голову к своему белому жилету и шутливо сказал:

– Не понимают нас с тобой, Костик, в этом доме.

Когда я успокоился и перестал плакать, мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стертая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя.

– Не пугайся, – сказала мне мама. – Это большая перемена.

Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшекласника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину:

– Привели еще одного несчастного кишонка!

Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество пригостишек, или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами.

Мы прошли с мамой через белый актовый зал с портретами императоров. Особенно запомнился мне Александр Первый. Он прижимал к бедру зеленую треуголку. Рыжеватые баки торчали по сторонам его кошачьего лица. Он мне не понравился, хотя за его спиной скакали по холмам кавалеристы с плюмажами.

Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому – тучному человеку в просторном, как дамский капот, форменном сюртуке.

Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал:

– Учись хорошо, а то съем!

Мама принужденно улыбнулась, Бодянский позвал сторожа Казимира и приказал ему отвести меня в подготовительный класс.

Мама кивнула мне, а Казимир взял меня за плечо и повел по длинным коридорам. Казимир так крепко стискивал мое плечо, будто боялся, что я вырвусь и убегу к маме.

В классах шли уроки. В коридоре было пусто и тихо. Тишина казалась особенно удивительной после неистового гама большой перемены. От перемены осталась пыль. Она плавала в лучах солнца, падавших из сада. Это был знаменитый сад киевской Первой гимназии – столетний парк, занимавший среди города целый квартал.

Я взглянул за окно в сад, и мне опять захотелось заплакать. В саду, просвеченные насквозь солнцем, стояли каштаны. Подсыхающие бледно-лиловые листочки тополей шевелились от ветра.

Уже тогда, мальчиком, я любил сады, деревья. Я не ломал веток и не разорял птичьих гнезд. Может быть, потому, что бабушка Викентия Ивановна всегда говорила мне, что «мир чудо как хорош и человек должен жить в нем и трудиться, как в большом саду».

Казимир заметил, что я собираюсь заплакать, достал из заднего кармана старого, но чистенького сюртука липкую конфету «зубровку» и сказал с польским акцентом:

– Съешь этот цукерок на следующей перемене.

Я поблагодарил его шепотом и взял конфету.

Первые дни в гимназии я вообще говорил шепотом и боялся поднять голову. Все подавляло меня: бородатые преподаватели в синих сюртуках, старинные своды, эхо в бесконечных коридорах и, наконец, директор Бессмертный – пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке.

Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться. Может быть, потому, что он сидел в высоком кабинете с портретом хирурга Пирогова, лепными потолками и красным ковром. Директор редко выходил оттуда. Ему мы кланялись по всем правилам, остановившись, тогда как с учителями мы здоровались на ходу.

Казимир вел меня по гулким коридорам. По ним бродили, заглядывая в классы через застекленный верх дверей, надзиратели «Дыня», «Шпонька», «Нюхательный табак» и единственный надзиратель, которого гимназисты любили, – Платон Федорович. Тот коридор, где был приготовительный класс, находился под властью Платона Федоровича. Это спасло меня на первое время от многих неприятностей.

Надзирателям полагалось следить за поведением гимназистов и сообщать инспектору о всяческих их проступках. За этим следовали кары – оставление на час или два «без обеда» (иначе говоря, томительное сидение в пустом классе после конца уроков), четверка по поведению и, наконец, вызов родителей к директору. Мы больше всего боялись этой последней кары.

В старших классах существовали и другие наказания: временное исключение из гимназии, исключение с правом дальнейшего обучения и самое страшное – исключение с «волчьим билетом», без права поступить потом в какую бы то ни было среднюю школу.

Я видел только одного гимназиста-старшеклассника, исключенного с «волчьим билетом». Это было, когда я учился уже в первом классе. Рассказывали, что он дал пощечину преподавателю немецкого языка Ягорскому, грубому человеку с зеленым лицом. Ягорский обозвал его при всем классе болваном. Гимназист потребовал, чтобы Ягорский извинился. Ягорский отказался. Тогда гимназист ударил его. За это он и был исключен с «волчьим билетом».

На следующий день после исключения гимназист пришел в гимназию. Никто из надзирателей не решился его остановить. Он открыл дверь класса, достал из кармана браунинг и направил его на Ягорского.

Ягорский вскочил из-за стола и, закрывшись журналом, побежал между партами, стараясь спрятаться за спинами гимназистов. «Трус!» – крикнул гимназист, повернулся, вышел на площадку лестницы и выстрелил себе в сердце.

Дверь нашего класса выходила на площадку. Мы услышали сухой треск и звон стекла. Что-то упало и покатилося по лестнице. Классный наставник бросился к двери. Мы выбежали вслед за ним.

На лестнице лежал веснушчатый гимназист. Он поднял руку, схватился за лестничную балясину, потом рука разжалась, и он затих. Глаза его смотрели на нас с удивленной улыбкой.

Около гимназиста засуетились надзиратели. Потом быстро вошел директор Бессмертный. Он стал на колени перед гимназистом, расстегнул его куртку, и тогда мы увидели кровь на рубашке. По лестнице уже подымались санитары скорой помощи, в коричневой форме, с французскими кепи на головах. Они быстро положили гимназиста на носилки.

– Уведите сейчас же детей! – сказал директор нашему классному наставнику.

Но тот, должно быть, не расслышал, и мы остались.

Из класса вышел Ягорский и, сгорбившись, пошел в учительскую комнату.

– Прочь! – вдруг сказал ему в спину директор.

Ягорский обернулся.

– Прочь из моей гимназии! – тихо сказал директор.

И Ягорский вдруг побежал, приседая, по коридору.

На следующий день мама не хотела пускать меня в гимназию, но потом раздумала, и я пошел. В гимназии нас распустили после второго урока. Нам сказали, что те из нас, кто хочет, могут пойти на похороны гимназиста.

И мы пошли все – маленькие, испуганные, в длиннополых шинелях, таща за плечами твердые ранцы.

Стоял холодный, туманный день. За гробом шла вся гимназия. Было много цветов в гробу. Директор вел под руку седую, плохо одетую женщину – мать этого гимназиста.

Тогда я еще плохо разбирался в таких житейских случаях, но все же понял, что жизнь дала нам первый урок товарищества. Мы по очереди подходили к могиле и бросали в нее по горсти земли, будто клялись, что всегда будем доброжелательны и справедливы друг к другу.

Но это было гораздо позже, а сейчас Казимир ввел меня в подготовительный класс.

За столом сидел классный наставник Назаренко – громогласный человек с волнистой синей бородой, как у ассирийского царя. Старшеклассники прозвали Назаренко «Науходоносором». Они уверяли, что он служил в охране.

Весь год, до перехода в первый класс, Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти, вросшие в мясо. Я боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции.

Я сел на низенькую парту, изрезанную перочинным ножом. Мне было трудно дышать. Кисло пахло чернилами. Назаренко диктовал: «Однажды лебедь, рак да щука...» За открытым окном на ветке сидел воробей и держал в клюве сухой лист клена. Мне хотелось поменяться с воробьем судьбой. Воробей посмотрел через окно в класс, жалобно пискнул и уронил лист клена.

– Новичок, – прогремел Назаренко, – достань тетрадь, пиши и не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда!

Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Тогда мой сосед, черный мальчик с веселыми глазами, Эмма Шмуклер, шепнул:

– Проглоти слюну, тогда пройдет.

Я проглотил слюну, но ничего не прошло. Я долго еще не мог вздохнуть всей грудью.

Так начался первый гимназический год. Пыль, беготня на переменах, постоянный страх, что тебя вызовут к доске, пальцы в чернилах, тяжелый ранец и, как отзвуки потерянной жизни, мелодичные звонки киевских трамваев за окнами, отдаленный свист шарманки и гудки паровозов, долетавшие с вокзала. Оттуда уходили тяжелые поезда и неслись, попыхивая паром, через рощи и скошенные поля, в то время как мы, согнувшись над партами, задыхались от меловой пыли, стертой сухой губкой с классной доски.

Против подготовительного класса был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи подымались амфитеатром к потолку.

В физический кабинет водили на уроки старшеклассников. Мы, конечно, кишели в коридоре у них под ногами, и это им, должно быть, надоело. Однажды один из старшеклассников, высокий бледный гимназист, протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас, кишат, и затаскивать в физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленями.

Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках – черные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрещал первый звонок. Мы начали вырываться. Старшеклассники нас не пускали. Они крепко держали нас, а самым буйным давали так называемые «груши». Для этого надо было винтообразно и сильно ковырнуть большим пальцем по темени. Это было очень больно.

Зловеще затрещал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать. Но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стал около двери.

– Смотри, – кричали ему старшеклассники, – рассчитай точно!

Мы ничего не понимали. Мы были от ужаса. Сейчас будет третий звонок. Назаренко ворвется в пустой подготовительный класс. Гнев его будет страшен. Реки наших слез не смогут смягчить этот гнев.

Затрещал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это значило, что в конце коридора появился физик. Он шел неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета.

Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчет старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ничего не видя, не понимая и оглашая рыданиями физический кабинет, к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженных детских голов. Потом мы вытолкнули физика, как пробку, из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе. К счастью, Назаренко задержался в учительской комнате и ничего не заметил.

Старшеклассникам удалось всего раз проделать над нами эту предательскую штуку. Потом мы были настороже. Когда старшеклассники появлялись в коридоре, мы тотчас прятались к себе в класс, закрывали двери и загораживали их партами.

Развлечение это, стоившее нам стольких слез, придумал бледный гимназист. Его звали Багров. Несколько лет спустя он стрелял из револьвера в Киевском оперном театре в царского министра Столыпина, убил его и был повешен.

На суде Багров держался лениво и спокойно. Когда ему прочли приговор, он сказал:

– Мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем.

Взрослые много говорили о Багрове и гадали, был ли он действительно революционером или агентом охраны, устроившей убийство Столыпина в угоду царю (Николай ненавидел Столыпина за то, что не мог сопротивляться его воле). Мой отец утверждал, что человек, произнесший перед смертью такие циничные слова, какие сказал Багров, не мог быть революционером.



## Вода из реки Лимпопо

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках неровным старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря».

Бутылок было много. В них была вода из Волги, Рейна, Темзы, озера Мичиган, Мертвого моря и Амазонки. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково желтая и скучная на вид.

Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мертвого моря. Нам хотелось узнать, действительно ли она такая соленая. Но пробовать воду Черпунов не позволял.

Низенький, с длинной, почти до колен, серой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было «Черномор».

Черпунов всегда притаскивал на уроки всяческие редкости. Больше всего он любил приносить бутылки с водой. Он рассказывал, как сам набирал нильскую воду около Каира.

– Смотрите, – он взбалтывал бутылку, – сколько в ней ила. Нильский ил богаче алмазов. На нем расцвела культура Египта. Марковский, объясни классу, что такое культура.

Марковский вставал и говорил, что культура – это выращивание хлебных злаков, изюма и риса.

– Глупо, но похоже на правду! – замечал Черпунов и начинал показывать нам разные бутылки.

Он очень гордился водой из реки Лимпопо. Ее прислал Черпунову в подарок бывший его ученик.

Чтобы мы лучше запоминали всякие географические вещи, Черпунов придумывал разные наглядные способы. Так, он рисовал на классной доске большую букву А. В правом углу он вписывал в эту букву второе А, поменьше, в него – третье, а в третье – четвертое. Потом он говорил:

– Запомните: это – Азия, в Азии – Аравия, в Аравии – город Аден, а в Адене сидит англичанин.

Мы запоминали это сразу и на всю жизнь.

Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучела колибри, коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота.

Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, небогатый, но расцветал в моем воображении, как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью – будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол.

Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду. Он сидел на мокрой от дождя скамейке и ковырял тростью землю. Я снял фуражку и поклонился.

– Пойди сюда! – подозвал меня Черпунов и протянул мне толстую руку. – Садись, рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей. Что же у тебя есть?

Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся.

– Похвально! – сказал он. – Приходи ко мне в воскресенье утром. Посмотришь мой музей. Допускаю, что коль скоро ты этим увлекаешься, то из тебя выйдет географ или путешественник.

– С мамой? – спросил я.

– Что с мамой?

– Прийти к вам с мамой?

– Нет, зачем же, приходи один. Мамы не понимают в географии.

В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошел к Черпунову. Он жил на Печерске, в низеньком флигеле во дворе. Флигель так густо оброс сиренью, что в комнатах было темно.

Была поздняя осень, но сирень еще не пожелтела. С листьев стекал туман. Внизу на Днепре трубили пароходы. Они уходили зимовать в затоны и прощались с Киевом.

Я поднялся на крыльцо и увидел вделанную в стену медную чашечку с круглой рукояткой от звонка. Я потянул рукоятку. Внутри флигеля пропел колокольчик.

Открыл мне сам Черпунов. На нем была серая теплая куртка и войлочные туфли.

Чудеса начались тут же в передней. В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист – я сам. Я долго не мог справиться с пуговицами. Я расстегивал их и смотрел на раму от зеркала.

Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда.

– Венецианское стекло, – сказал Черпунов, помог мне расстегнуть шинель, снял ее и повесил на вешалку. – Посмотри поближе. Можешь даже потрогать.

Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнем.

– Совсем как рахат-лукум, – заметил я.

– Глупо, но похоже на правду, – пробормотал Черпунов.

Я покраснел так, что у меня загло в глазах. Черпунов похлопал меня по плечу:

– Не обижайся. Это у меня такая поговорка. Ну пойдем. Выпьешь с нами чаю.

Я начал отказываться, но Черпунов взял меня за локоть и повел в столовую. Мы вошли в комнату, похожую на сад. Нужно было осторожно отводить листья филодендрона и свисавшие с потолка ветки с красными пахучими шишками, чтобы добраться до своего места за столом. Веерная пальма нависала над белой скатертью. На подоконниках теснились вазоны с розовыми, желтыми и белыми цветами.

Я сел за стол, но тотчас вскочил. В столовую быстро вошла, шурша платьем, невысокая молодая женщина с блестящими серыми глазами.

– Вот, Маша, – кивнул на меня Черпунов, – это тот гимназистик, про которого я рассказывал. Сын Георгия Максимовича. Конфузится, конечно.

Женщина протянула мне руку. Зазвенел браслет.

– Неужели вы ему будете все объяснять, Петр Петрович? – спросила она, разглядывая меня и усмехаясь.

– Да, после чая.

– Тогда я схожу на это время в город. В кондитерскую. К Кирхгейму. Мне надо кое-что купить.

– Как хочешь.

Женщина налила мне чаю с лимоном и пододвинула вазу с венскими булочками:

– Набирайтесь сил перед лекцией.

После чая Черпунов закурил папиросу. Пепел он стряхивал в раковину, покрытую окаменелой пеной нежнейшего розового цвета. Вторая такая же раковина стояла рядом.

– Это раковина из Новой Гвинеи, – заметил Черпунов.

– Ну прощайте! – громко сказала молодая женщина, встала и вышла.

– Итак, – промолвил Черпунов, проводил ее глазами, а потом показал мне на портрет на стене. Он изображал бородатого человека с изможденным лицом. – Ты знаешь, кто это? Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо-Маклай. Он был великим гумани-

стом. Ты, должно быть, не понимаешь, что означает это слово. Не важно. Поймешь потом. Он был великий ученый и верил в добрую волю людей. Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. Безоружный, умирающий от лихорадки. Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что, когда за ним пришел наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» Так вот, запомни: добротой можно добиться всего.

Женщина вошла в столовую и остановилась в дверях. На ней была черная маленькая шляпка. Она натягивала на левую руку перчатку.

– Между прочим, что такое поэзия? – неожиданно спросил Черпунов. – Пожалуйста, не собирайся мне отвечать. Это определить нельзя. Вот раковина с острова, где жил Маклай. Если ты долго будешь смотреть на нее, то вдруг тебе придет в голову, что как-то утром солнечный свет упал на эту раковину и так на ней и остался на вечные времена.

Женщина села на стул около двери и начала стаскивать с руки перчатку.

Я уставился на раковину. На минуту мне показалось, что я на самом деле уснул и вижу медленный восход солнца над прозрачными массами океанской воды и вспышки розовых лучей.

– Если ты прижмешь раковину к уху, – говорил где-то далеко Черпунов, – то услышишь гул. Я не могу тебе объяснить, почему это происходит. И никто тебе этого не объяснит. Это тайна. Все, что человек не может понять, называется тайной.

Женщина сняла шляпку и положила ее себе на колени.

– Возьми послушай, – предложил Черпунов.

Я прижал раковину к уху и услышал сонный шум – будто далеко-далеко набегали на берег равномерные волны. Женщина протянула руку:

– Дайте и мне. Я уже давно не слушала.

Я отдал ей раковину. Она прижала ее к уху, улыбнулась и приоткрыла рот так, что стали видны ее маленькие, очень белые и влажные зубы.

– Что же ты, Маша, не идешь к Кирхгейму? – неожиданно спросил Черпунов.

Женщина встала.

– Я раздумала. Мне скучно одной идти к Кирхгейму. Извините, если я помешала.

Она вышла из столовой.

– Ну что же, – сказал Черпунов, – продолжим нашу беседу, молодой человек. Вон там в углу стоят черные ящики. Принеси-ка сюда верхний ящик. Только носи осторожно.

Я взял ящик и поставил его на стол перед Черпуновым. Ящик оказался совсем легким.

Черпунов не торопясь открыл крышку. Я заглянул через его плечо и невольно вскрикнул. Огромная бабочка, больше, чем лист клена, лежала в ящике на темном шелку и переливалась, как радуга.

– Не так смотришь! – рассердился Черпунов. – Надо вот так!

Он взял меня за макушку и начал поворачивать мою голову то вправо, то влево. Каждый раз бабочка вспыхивала разными цветами – то белым, то золотым, то пурпурным, то синим. Казалось, что крылья ее горели чудесным огнем, но никак не сгорали.

– Редчайшая бабочка с острова Борнео! – с гордостью произнес Черпунов и закрыл крышку ящика.

Потом Черпунов показал мне звездный глобус, старые карты с «розой ветров», чучела колибри с длинными, как маленькие шила, клювами.

– Ну, на сегодня довольно, – сказал Черпунов. – Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям.

– Вы всегда дома?

– Да. Я уже стар, чтобы бродить и путешествовать, мой друг. Вот я и странствую по стенам и столам. – Он показал на книжные полки и на мертвых колибри.

– А вы много путешествовали? – спросил я робко.

– Не меньше, чем Миклухо-Маклай.

Когда, торопясь и не попадая в рукава, я натягивал в передней шинель, вошла молодая женщина. Она была в коротком узком жакете, в шляпе и перчатках. Маленькая темная вуаль была опущена у нее на глаза. От этого они казались совсем синими.

– Вы где живете? – спросила она.

Я ответил.

– Значит, до Крещатика нам по пути. Пойдемте вместе.

Мы вышли. Черпунов стоял в дверях и смотрел нам вслед. Потом он громко сказал:

– Маша, прошу тебя, будь осторожна. И возвращайся скорей.

– Я слышу, – ответила женщина, но не оглянулась.

Мы миновали Никольский форт с бронзовыми мордами львов на крепостных воротах, прошли через Мариинский парк, где я встретил когда-то гардемарина, и повернули на Институтскую улицу. Женщина молчала. Я тоже молчал. Я боялся, что она о чем-нибудь спросит и мне придется отвечать.

На Институтской она наконец спросила:

– Что вам больше всего понравилось в нашем музее?

– Бабочка, – ответил я, помолчав, и добавил: – Только жалко эту бабочку.

– Да? – удивилась женщина. – Почему же вам ее жалко?

Мне в то время никто не говорил «вы», и от этого я еще больше смущался.

– Она очень красивая, – ответил я, – а ее почти никто не видит.

– А еще что вам понравилось?

На Крещатике мы остановились около кондитерской Кирхгейма. Женщина спросила:

– Вам позволяют пить какао в кондитерской? И есть пирожные?

Я не знал, позволяют ли мне это или нет, но вспомнил, что один раз я был с мамой и сестрой Галей у Кирхгейма и мы действительно пили какао. Поэтому я ответил, что, конечно, мне позволяют бывать у Кирхгейма.

– Вот и хорошо! Тогда пойдемте.

Мы сели в глубине кондитерской. Женщина отодвинула на край столика вазон с гортензией и заказала две чашки какао и маленький торт.

– Вы в каком классе? – спросила она, когда нам подали какао.

– Во втором.

– А сколько вам лет?

– Двенадцать.

– А мне двадцать восемь. В двенадцать лет, конечно, можно верить всему.

– Что? – переспросил я.

– У вас есть какие-нибудь любимые игры и выдумки?

– Да, есть.

– И у Петра Петровича есть. А у меня нет. Вот вы бы и приняли меня в свои игры. Мы бы хорошо играли.

– А во что? – полюбопытствовал я. Разговор становился интересным.

– Во что? Ну хотя бы в Золушку или в бегство от злого короля. Или мы придумали бы новую игру. Она называлась бы «Бабочка с острова Борнео».

– Да! – сказал я, загораясь. – Мы бы разыскали в заколдованном лесу колодец с живой водой.

– С опасностью для жизни, конечно?

– Ну да, с опасностью для жизни!

– Мы бы несли эту воду, – сказала она и подняла на лоб вуаль, – в ладонях. Когда один уставал бы нести, он осторожно переливал бы воду в ладонь к другому.

– Когда мы будем переливать воду, – заметил я, – одна или две капли обязательно упадут на землю, и в тех местах...

– В тех местах, – перебила она, – вырастут кусты с большими белыми цветами. А что случится потом, как вы думаете?

– Мы побрызгаем бабочку этой водой, и она оживет.

– И превратится в прекрасную девушку? – спросила женщина и засмеялась. – Ну, пора идти. Вас, наверное, ждут дома.

Мы вышли. Она проводила меня до угла Фундуклеевской, а оттуда пошла обратно. Я оглянулся. Она переходила Крещатик, тоже оглянулась, улыбнулась и помахала мне маленькой рукой в черной перчатке.

Дома я не рассказал никому, даже маме, что был в кондитерской Кирхгейма. Мама все удивлялась, почему я ничего не ем за обедом. Я упорно молчал. Я думал об этой женщине, но ничего не понимал.

На следующий день я спросил у одного из старшеклассников, кто эта женщина.

– А ты разве был у Черпунова? – спросил старшеклассник.

– Был.

– И видел музей?

– Видел.

– Повезло, – сказал старшеклассник. – Это его жена. Он старше ее на тридцать пять лет.

В следующее воскресенье я не пошел к Черпунову, потому что среди недели он заболел и перестал ходить в гимназию. А через несколько дней мама вдруг спросила меня за вечерним чаем, не видел ли я у Черпунова молодую женщину.

– Видел, – сказал я и покраснел.

– Ну, значит, правда, – обернулась мама к отцу. – А он был с ней, говорят, так добр! Она жила как принцесса в золотой клетке.

Отец ничего не ответил.

– Костик, – сказала мама, – ты уже выпил чай. Иди к себе, скоро пора ложиться.

Она уснула, чтобы поговорить с отцом о Черпунове. Но я не стал подслушивать, хотя мне очень хотелось знать, что случилось.

Вскоре я узнал об этом в гимназии. Жена ушла от Черпунова, уехала в Петербург. Старик заболел от горя и никого к себе не пускал.

– Так и надо Черномору, – сказал гимназист Литтауэр. – Не женись на молодой!

Мы возмутились этими словами. Мы любили старика Черпунова. Поэтому на следующем же уроке, когда француз Сэрму влетел в класс, мы отомстили Литтауэру.

– Литтауэр! – громовым хором крикнул весь класс. – Иттауэр! Тауэр! Ауэр! Эр!

Потом сразу наступила тишина.

Сэрму вспыхнул и, как всегда, не разобрав, в чем дело, крикнул:

– Литтауэр, вон из класса!

И поставил Литтауэру четверку по поведению.

Больше мы не видели Черпунова. Он не вернулся в гимназию.

Через год я встретил его на улице. Он едва брел – желтый, опухший, опираясь на толстую трость. Он остановил меня, расспросил, как я учусь, и сказал:

– Бабочку помнишь? С острова Борнео? Так вот, нет у меня уже этой бабочки.

Я молчал. Черпунов внимательно посмотрел на меня.

– Я подарил ее университету. И ее, и всю свою коллекцию бабочек. Ну, будь здоров. Рад был встретить тебя.

Черпунов вскоре умер. Я долго помнил о нем и о молодой женщине. Непонятная тоска охватывала меня, когда я вспоминал ее вуаль и то, как она, переходя Крещатик, улыбнулась и помахала рукой.

Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил:

– Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?

– Ну как же! – ответили мы. – Великолепно помним.

– Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал? Он справедливо полагал, что таким путем дает толчок развитию вашего воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению. Воображение создало искусство. Оно раздвинуло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией.

## Первая заповедь

На каждый день недели у нашего законоучителя, соборного протоиерея Трегубова, были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая, черная, коричневая, зеленая и, наконец, кремовая, чесучовая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день – вторник или суббота.

Как только Трегубов появился у нас в третьем классе, он тотчас уничтожил вековые традиции в преподавании Закона божьего. Обыкновенно по этому предмету гимназисты во всех гимназиях получали пятерки. Объяснялось это, очевидно, тем, что законоучители по обязанности своей должны были проявлять человеколюбие и старались не огорчать гимназистов. А может быть, и тем, что и законоучители и гимназисты не относились к этому предмету всерьез.

Трегубов одним ударом разрушил наше пренебрежение к Закону божьему.

– Алтухов, – сказал он, – прочти первую заповедь.

– «Аз есмь господь бог твой да не будет тебе бози иний разве мене!» – выпалил Алтухов и усмехнулся. Придаться к этому ответу было невозможно.

– Садись! – сказал Трегубов и поставил Алтухову единицу. – Боримович, теперь ты прочти первую заповедь.

Боримович, бледнея, прочел первую заповедь так же правильно, как Алтухов, и тоже получил единицу.

Трегубов вызывал всех по алфавиту. Все читали первую заповедь правильно, и всем Трегубов, злорадно улыбаясь, ставил единицы. Мы ничего не понимали. Весь журнал от А до Щ украсился единицами. Это грозило великими бедами.

Окончив ставить единицы, Трегубов разгладил надушенными руками бороду и произнес:

– Пренебрежительно относитесь к знакам препинания. За это и понесли заслуженную кару. Невнимательны к божественным текстам и легкомысленны, как ягнята. После речения «Аз есмь господь бог твой» стоит запятая. Что это означает? Это означает, что в месте сем следует сделать короткую остановку, иначе говоря, паузу, дабы выделить значительность последующего утверждения. А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам!

Он говорил тихо, глядя на нас узкими презрительными глазами. Золотой значок академика поблескивал на его шелковой рясе.

До Трегубова законоучителем у нас был протоиерей Златоверховников, дряхлый, шепелявый и глухой. С тем было проще. Можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро и монотонно. От этого Златоверховников на второй-третьей минуте начинал дремать, а потом и совсем засыпал. Тогда мы могли заниматься чем угодно, лишь бы не разбудить престарелого иерея.

На задних партах играли в железку и жарили на спичках копченых маленьких рыбок. На передних зачитывались «Приключениями знаменитого американского сыщика Ника Картера».

Иерей посапывал, а класс тихо веселился, пока наконец, минуты за две до звонка, не надо было будить Златоверховникова. Для этого роняли на пол связку книг или весь класс по команде чихал.

После Златоверховникова Трегубов явился к нам, как карающий бог Саваоф. Он и вправду был похож на бога Саваофа с церковного купола – огромный, с широкой бородой и гневными бровями.

Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета и гонителем свободомыслия. Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к нему получать разнос за недостойные поступки.

Трегубов любил выступать на модных в то время религиозно-философских диспутах. Он говорил гладко и сладко, распространяя запах одеколона.

Мы ненавидели его так же холодно, как он ненавидел нас. Но церковные тексты мы заучивали на всю жизнь.

Мы пользовались любым поводом, чтобы удрать с Закона божьего. Надежным убежищем в этих случаях были уроки католического Закона. Они шли одновременно с нашими, но в другом классе. Мы пробирались туда и только там чувствовали себя в безопасности. То уже была территория, как бы подчиненная апостолической церкви и римскому папе Льву XIII. Трегубов терял всякую власть на пороге этого обыкновенного пыльного класса. В нем властвовал ксендз-каноник Олендский.

Высокий, тучный, с белой головой, с черными четками на руке, он нисколько не удивлялся, когда в дверях его класса показывался смущенный «российский» гимназист.

– Сбежал? – сурово спрашивал Олендский.

– Нет, пан каноник, я только хотел немного посидеть у вас на уроке.

– Немного посидеть? Ах, лайдак, лайдак! – Олендский начинал трястись от смеха. – Подойди сюда!

Гимназист подходил к Олендскому. Ксендз громко хлопал его табакеркой по голове. Этот жест обозначал отпущение грехов.

– Садись! – говорил после этого Олендский. – Вон туда, в угол, за спину Хоржевского, – (Хоржевский был очень высокий гимназист, поляк), – чтобы тебя не увидели из коридора и не повлекли в геенну огненную. Сиди и читай газету. На!

Олендский вытаскивал из кармана сутаны сложенную вчетверо «Киевскую мысль» и протягивал беглецу.

– Спасибо, пан каноник! – говорил беглец.

– Благодарю не меня, а бога, – отвечал Олендский. – Я только жалкое орудие его рук. Он вывел тебя из дома неволи, как евреев из египетской земли.

Трегубов, конечно, знал, что Олендский прячет нас у себя на уроках. Но перед Олендским даже Трегубов терялся. Добродушный ксендз при встречах с Трегубовым становился изысканно вежлив и ядовит. Достоинство иерея православной церкви не позволяло Трегубову вступать в пререкания с Олендским. Мы же пользовались этим, сколько могли. В конце концов мы так понаторели в католическом Законе божьем, что знали его лучше многих поляков.

– Станишевский Тадеуш, – говорил ксендз-каноник, – скажи мне «Магнификат».

Станишевский Тадеуш вставал, поправлял кушак, откашливался, громко глотал слюну, смотрел сначала за окно, потом на потолок и наконец признавался:

– Забыл, пан каноник.

– Забыл? Однако ты не забываешь приходить в костел каждый раз, когда там бывает панна Гжибовская. Садись! Кто знает «Магнификат»? Ну? Кто? О, святая дева над девами, королева апостолов! Что же это такое? Все молчат! Кто знает «Магнификат», пусть подымет руку.

Поляки рук не подымали. Но случалось иногда так, что поднимал руку кто-нибудь из православных, какой-нибудь несчастный беглец от Трегубова.

– Ну, – говорил в изнеможении Олендский, – скажи хоть ты «Магнификат»! И если после этого бог не покарает их, – ксендз показывал на поляков, – то только из-за своего великого милосердия.

Тогда беглец вставал и говорил без запинки «Магнификат».

– Подойди сюда! – говорил Олендский.

Беглец подходил. Олендский доставал из кармана сутаны горсть конфет, похожих на кофейные зерна, и щедро высыпал их на ладонь беглецу. Потом Олендский нюхал табак, быстро успокаивался и начинал рассказывать любимую свою историю, как он служил в Варшаве панихиду над сердцем Шопена, запаянным в серебряную урну.



После уроков Олендский шел из школы к себе в костельный дом. Он останавливал на улице детей и щелкал их пальцем по лбу. Его хорошо знали в Киеве – высокого ксендза со смеющимися глазами.

Обучение Закону божьему и соприкосновение с церковными делами было для нас постоянным мучением. Единственное, что мы любили, – это великопостные каникулы. Нас распускали на неделю, чтобы мы могли говеть – исповедоваться и причащаться. Мы выбирали для говения окраинные церкви – священники этих церквей не очень следили за тем, чтобы говеющий гимназист посещал все великопостные службы.

Почти всегда великопостные каникулы приходились на март, сырой и туманный месяц. Снег уже начинал темнеть. И все чаще можно было увидеть в разрывах туч синее небо недалеко весны.

На голых тополях кричали галки. На Днепре сизыми пятнами проступала на льду талая вода, а на базарах уже продавали веточки вербы с пушистыми «зайчиками».

Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову. Но Трегубов был неуязвим.

Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз. Но месть эта была безжалостной.

Когда мы были уже в четвертом классе, мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс. Мы принесли на урок Трегубова рыжую крысу – пасюка – и выпустили из-под парты в то время, когда Трегубов рассказывал какую-то историю из Нового завета.

Гимназист Жданович взвизгнул и вскочил на парту.

– Что такое? – грозно спросил Трегубов.

– Крыса, батюшка! – ответил, трясясь, Жданович.

Мы повскакивали с мест. Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной легкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками.

Мы начали бросать в крысу книгами. Она завизжала и забегала около классной доски. Отец Трегубов поспешно переступил со стула на стол.

– Двери отомкните! – ревел он со стола протодиакономским басом. – Двери! Выпустите ее в коридор!

Мы делали вид, что боимся крысы, и не хотели открывать дверей. Тогда отец Трегубов закричал так, что звякнули стекла в рамах:

– Платон Федорович! Сюда!

И он с размаху бросил в крысу классным журналом.

Испуганный надзиратель Платон Федорович распахнул дверь. Из-за его спины выглядывал сторож Казимир. Потом появился инспектор Бодянский. Нахмурившись и сдерживая улыбку, он начал командовать изгнанием крысы.

Отец Трегубов не слезал со стола. Он только опустил рясу. Он стоял перед нами, как собственный памятник в два человеческих роста.

Когда крыса была изгнана, Трегубов при помощи Бодянского слез со стола. Дежурный услужливо подал ему журнал, и отец Трегубов, приняв обычный величественный вид, удалился из класса.

Задним числом Трегубов сообразил, что крыса появилась в классе неспроста. Он потребовал дознания. Оно не привело ни к чему. Гимназия ликовала, а инспектор Бодянский говорил:

– Не радуйтесь слабости человеческой! Смотрите лучше за собой. А то я опять замечаю у некоторых господ гимназистов гербы с выломанным вензелем гимназии. Буду за это беспощадно сажать «без обеда».

Мне придется нарушить правильный ход повествования и забежать вперед, чтобы рассказать, как мы наконец избавились от Трегубова.

Это было в восьмом классе. Я жил тогда уже один, без семьи, и снимал комнату в Диком переулке, у пехотного поручика Ромуальда Козловского. Он жил вместе с молчаливой и доброй своей матерью, старушкой пани Козловской.

Была осень 1910 года – промозглая, тусклая, с обледенелыми ветками, оловянным небом и шелестом не успевшей облететь, но уже подмерзшей листвы. В такие дни у меня часто бывали головные боли. Тогда я не ходил в гимназию, оставался у себя в каморке в Диком переулке, лежал, закутав голову, и старался не стонать, чтобы не беспокоить пани Козловскую.

Я согревался, и боль постепенно утихала. Тогда я начинал читать, не вставая, желтые книжки «Универсальной библиотеки». Трещал огонь в печах. В маленькой квартире было тихо. Изредка за окном пролетал робкий снежок. После недавней боли голова была очень свежей, и все казалось мне хорошим: и цвет сизого неба, и дымок поленьев, и снег, прилипший к стеклу.

Вот в такой день пани Козловская открыла дверь на звонок почтальона, взяла газету, охнула и засеменила ко мне в комнату.

– Костик, – сказала она, – несчастье с графом Толстым!

Я вскочил, выхватил у нее газету, пахнущую керосином, и начал читать первые телеграммы об уходе Толстого.

Пани Козловская с испугом смотрела на меня и повторяла:

– Боже, спаси его! Боже, спаси его!

Я тотчас оделся, натянул шинель и вышел на улицу. Мне казалось, что все в городе должно было сразу перемениться с той минуты, когда пришло ошеломляющее известие. Но все было по-старому. Ехали ломовики с дровами, дребезжал вагон старой киевской конки, гуляли с гувернантками дети.

Я не выдержал и пошел в гимназию. На всех партах валялись газеты. Наш классный наставник – латинист Субоч – опоздал на урок. Этого с ним никогда не бывало. Он вошел, опустился на стул, снял пенсне и долго сидел, сторбившись, глядя за окно подслеповатыми выпуклыми глазами. Он как будто чего-то ждал. Потом он сказал мне:

– Сходите, голубчик, к редакции «Киевской мысли». Там вывешиваются последние телеграммы. Узнайте. Мы будем ждать.

Это было неслыханно в истории нашего класса. Но сейчас все отнеслись к этому как к естественному явлению. Я встал и вышел. В коридоре меня поймал Платон Федорович.

– Вы куда? – грозно спросил он и загородил мне дорогу.

Я ответил. Платон Федорович наклонил голову и быстро отступил к стене, чтобы дать мне пройти.

Когда я вернулся, то, прежде чем войти в класс, я заглянул в него через верхнее стекло двери. Субоч читал вслух. Все сидели неподвижно, будто оцепенев. Я тихо открыл дверь и услышал знакомые слова:

– «Стало темнеть, ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Артур. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать...»

Два или три дня занятия в гимназии шли кое-как. Потом таким же промозглым утром я увидел экстренные выпуски газет с траурной каймой, растерянных людей на улицах, толпы студентов около университета. Они стояли молча. На рукавах шинелей у всех студентов были креповые черные повязки. Незнакомый студент приколот и мне на мою серую шинель черную повязку.

Я пошел в гимназию. Казачьи разъезды медленно проезжали вдоль тротуаров. Во дворах стояли кучками городовые. По дороге я догнал своих товарищей по классу – у всех, как и у меня, были траурные повязки. В раздевалке мы откололи эти повязки от шинелей и надели на рукава курток. В гимназии было особенно тихо. Даже малыши не шумели.

Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был Закон божий. Трегубов вошел слишком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу.

Дежурный Матусевич вышел и остановился рядом с Трегубовым. Трегубов тяжело смотрел на него и молчал.

– Вчера, в шесть часов утра, на станции Астапово, – сказал Матусевич, стараясь не волноваться и говорить громко, – умер величайший писатель нашей страны, а может быть и всего мира, Лев Николаевич Толстой.

Громыхнули крышки парт. Весь класс встал. В глубочайшей тишине был слышен цокот копыт – по улице проезжали патрули.

Трегубов наклонился над столом, сжал его края толстыми пальцами и сидел неподвижно.

– Встаньте, отец протоиерей! – очень тихо сказал ему Матусевич.

Трегубов медленно и грузно встал. Шея его налилась кровью. Он стоял, опустив глаза. Прошло несколько минут. Нам они показались часами. Потом все сели бесшумно и медленно. Трегубов взял журнал и пошел из класса. В дверях он остановился и сказал:

– Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем. Я совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте. И да вразумит вас господь.

Мы молчали. Трегубов вышел.

На следующий урок Закона божьего к нам пришел вместо Трегубова молодой священник с лицом поэта Надсона, любитель философии и литературы. Мы сразу же полюбили его за деликатность и молодость, и дружба эта не прерывалась до окончания гимназии.

## Липовый цвет

Никогда я еще не видел таких старых лип. Ночью их вершины терялись в небе. Если начинался ветер, то звезды перелетали среди веток, как светляки. Днем под липами было темно, а наверху, в свежей зелени, шумел, дрался, пересвистывался и перепархивал пестрый птичий народ.

– Вот погодите, – говорил дядя Коля, – скоро все эти липы зацветут, тогда...

Он никогда не договаривал, что будет, когда зацветут липы. Но мы и сами знали, что тогда старый парк в Рёвках превратится в место таких чудес, какие бывают только в сказках.

Уже второй год после конца занятий в гимназии мы всей семьей приезжали на лето в Брянские леса, в Рёвны. Туда же приезжал на время отпуска и отец.

Разорившийся хозяин поместья сдавал на лето две-три деревянные дачи в парке. Поместье было удалено от городов и железной дороги. Никто почти не приезжал туда на лето, кроме дяди Коли и нас.

Чтобы представить себе прелесть этих мест, надо описать их с топографической точностью.

Запущенный липовый парк с непролазной гущей орешника и крушины. Мишистые скамейки среди кустов сирени. Заглохшие аллеи. У них были названия: «Храм Дианы», «Аллея вздохов», «Соловьиный овраг».

Солнечные поляны с одинокими соснами и полевыми цветами, и снова сень могучих и, как нам казалось, тысячелетних лип.

Парк спускался к реке Рёвне. За ней поднимались по взгорью дремучие леса. Туда вела единственная песчаная дорога. По этой дороге можно было дойти до ветхой часовни с иконой Тихона Задонского. За часовней дорога терялась в сухой траве.

Ходить дальше часовни в одиночку никто не решался, даже самый смелый из обитателей поместья – студент Петербургского лесного института Володя Румянцев.

Лесная чаща вплотную подступала к бревенчатой часовне. Из чащи тянуло прелью и папоротником. В сумерки оттуда прилетали совы.

Как-то ночью мы слышали далекий крик, долетевший из леса. Это заблудился ярмарочный торговец – офеня. Он шел пешком из Свенского монастыря на ярмарку в Трубчевск. Лесной объездчик нашел его и привел в Рёвны. Торговец, худой мужичок с синими глазами, плакал и крестился.

Однажды мы, мальчишки, вместе с Володей Румянцевым отправились в лес и взяли с собой компас.

Мы видели бездонные овраги, заросшие до краев ежевикой и хмелем. В глубине оврагов бормотала вода, но до нее нельзя было добраться. Мы открыли в лесах неизвестную речку с такой прозрачной водой, что она казалась стеклянной. С крутого берега были видны тучи мальков, шнырявших по дну этой речки.

Наконец мы видели сгнивший крест около родника. На перекладине креста висела жестяная кружка. Вокруг кружки обвился выюнок и крепко держал ее. Мы оторвали выюнок и зачерпнули кружкой воды из родника. Вода отдавала ржавчиной.

Курлыкали журавли, свистели иволги, парили ястребы. Облака с синими днищами проходили над нами. Мы поглядывали на них – оттуда, сверху, хорошо был виден весь этот загадочный лесной край. Дятлы деловито долбили сухие стволы, и то тут, то там падали нам на голову шишки.

Володя Румянцев уверял, что в лесах есть заброшенный раскольничий скит. В скиту водились дикие пчелы, и можно было набрать меду.

Но скит мы не нашли. Мы влезали на сосны, чтобы осмотреться и увидеть среди разлива зелени тесовую крышу с кривым восьмиконечным крестом. Вверху на соснах продувал теплый ветерок, руки прилипали к смолистым веткам. Прыгали черноглазые белки. Пахло скипидаром от молодых зеленых шишек. Но сколько мы ни смотрели с сосен, как с маяков, прикрыв глаза рукой от солнца, мы ничего не видели, кроме леса да плывущих облаков. От них кружилась голова.

С высоких сосен облака казались гораздо ближе, чем с земли. Хотелось дотронуться до их белоснежных громад.

Выше этих облаков пересекала небо светлая рябь. От нее расходились прозрачные перья. Володя Румянцев говорил, что это тоже облака, но такие высокие, что они уже состоят не из водяных паров, а из кристаллов льда. Перья неподвижно висели в холодной и недостижимой вышине.

Кроме лесов, в Рёвнах было еще одно таинственное место – река. Она струилась под нависшими ивами, разбивалась на два рукава, обтекала остров и во многих местах от берега до берега заросла кувшинкой и плавающими цветами водокраса.

У острова реку перегораживали деревянные плотины. На острове стоял заброшенный стружечный завод. Горы опилок были навалены около пустых амбаров. В жаркие дни на заводе до одури пахло древесной трухой.

Завод когда-то работал от мельничного колеса. Сейчас все это обрушилось, затянулось косматой паутиной – и колесо, и деревянные зубчатые передачи. На них уже выросли желтые, как сера, грибы.

За плотинами были водяные ямы – жилища огромных щук. Ямы назывались спадами. В спадах вода была черная и медленно вращалась.

В этих ямах мы с дядей Колей засадили десятки крючков и блесен. Кроме щук, там жили большие, почти синие окуни. Мы удили их с мокрых бревен плотины. Бывало, окуни вырывали у нас из рук удочки и утаскивали под воду. Бамбуковое удище, как золотая стрела, быстро скользило в глубину. Потом обычно оно всплывало ниже спада, и мы доставали его с лодки вместе с окунем.

Что было еще в Рёвнах? Старинный дом с колоннами, построенный, по преданию, Расстрелли. На его фронте вили гнезда ласточки. Пустые залы, лестницы и переходы заливал радужный свет. Он проникал сквозь выпуклые стекла. Когда кто-нибудь проходил по залам, трещала мебель. Жидко звенели люстры.

В доме никто не жил. Только по семейным праздникам, на именины Марии (Марий в семье было две – моя мама и тетя Маруся, жена дяди Коли), открывали зал с хорами для музыкантов, проветривали его и устраивали бал.

Мы развешивали на балконе круглые фонарики, а поздним вечером пускали в парке ракеты. Они прорывались сквозь гущу деревьев и выбрасывали разноцветные огненные шары. Шары медленно слетали сверху и освещали красноватым пламенем старый дом. Когда ракеты гасли, в парк возвращалась летняя ночь с ее отдаленным криком лягушек, блеском звезд и запахом цветущих лип.

На именины приезжали из Брянска товарищи дяди Коли – артиллерийские офицеры. Однажды приехал даже московский певец – тенор Асоченский. Он устроил концерт в старинном зале.

«О, если б ты ко мне вернулась снова, – пел Асоченский, – где были мы так счастливы с тобой! В густых ветвях слышала б ты шепот, – знай, это стон души больной».

Мне казалось, что слова этого романса относятся к нашему парку. Он слышал много признаний, видел бледные лица влюбленных, слезы расставания.

«Когда твой сон тревожит звук печальный, – пел Аскоченский, опираясь на рояль, а тетя Маруся, быстро поправляя волосы, аккомпанировала ему, – иль в непогоду слышен бури вой, – знай, это я рыдаю безутешно...»

После бала на даче у дяди Коли устраивался ужин. Свечи в круглых абажурах трещали от сгоравших ночных мотыльков.

Нам, гимназистам, наравне со взрослыми наливали вина. Мы начинали храбриться.

Однажды, выпив вина, мы решили, что каждый из нас поодиночке обежит ночью парк. Чтобы не было обмана, каждый должен был положить что-нибудь на скамейку в Соловьином овраге. Утром дядя Коля обещал проверить, честно ли мы выполним это условие.

Первым бежал брат тети Маруси, студент Медико-хирургической академии Павел Теннов. Все его звали Павлей. Он был долговяз, курнос, носил курчавую бородку и смахивал на Чехова. Павля отличался доверчивостью и добротой. Поэтому с ним всегда разыгрывали разные штуки.

Павля должен был оставить на скамейке в Соловьином овраге пустую бутылку от вина.

После Павли была моя очередь. Я помчался в глубину аллеи. Росистые ветки колотили меня по лицу. Мне чудилось, что кто-то догоняет меня скачками.

Я остановился и прислушался. Кто-то крался в кустах. Я помчался дальше и выбежал на поляну. В глубине ее исходила луна. Впереди был Соловьиный овраг. Непроглядная темнота лежала там, и я с размаху бросился в нее, как в черную воду. Блеснула река. За рекой заунывно кричала выпь.

Около скамейки я остановился. Пахло липовым цветом. Вся ночь до звезд была наполнена этим запахом. Было тихо, и не верилось, что недалеко отсюда, на ярко освещенной веранде, шумят веселые гости.

Мы заранее сговорились разыграть Павлю. Я схватил бутылку, оставленную Павлей на скамейке, и швырнул ее в реку. Бутылка перевернулась и блеснула под луной. Лунные круги разошлись к берегам.

Я побежал дальше, над обрывом. Оттуда сильно тянуло сыростью и дягилем. Задыхаясь, я выбежал на большую липовую аллею. Впереди заблестели огни.

– Костик! – услышал я встревоженный голос тети Маруси. – Ты?

– Да! – ответил я, подбегая.

– Какие глупости приходят вам всем в голову! – сказала тетя Маруся. Она стояла в аллее и куталась в легкий шерстяной платок. – Мама очень волнуется. Кто это выдумал? Глеб, наверное?

– Нет, не Глеб, – соврал я. – Это мы вместе.

Тетя Маруся угадала. Ночной бег по парку придумал воспитанник дяди Коли, гимназист брянской гимназии Глеб Афанасьев, вихрастый мальчик, неистощимый на выдумки. В его серых глазах постоянно поблескивали лукавые огоньки. Не проходило дня, чтобы Глеб чего-нибудь не придумал. Поэтому, что бы ни случилось, во всем обвиняли Глеба.

Наутро дядя Коля проверил вещи на скамейке. Там не оказалось бутылки, оставленной Павлей. Все начали издеваться над Павлей и говорить, что он трусил, не добежал до оврага, вернулся, а бутылку выбросил по дороге. Но Павля сразу догадался, в чем дело, и пригрозил:

– Ну погоди, Глеб, ты у меня поплачешь!

Глеб промолчал, но меня не выдал.

В тот же день Павля поймал Глеба в купальне, несколько раз окунул с головой, потом связал в тугой узел глебовские брюки и намочил их в воде. Глеб долго развязывал брюки зубами. В жеванных брюках Глеб выглядел жалко. Это было обидно, потому что на даче в Рёвках жили с матерью две сестры-гимназистки Карелины из Орла. Старшая сестра, Люба, все время читала, прячась в глухих углах парка. Щеки у нее горели. Светлые волосы всегда были растрепаны.

Около скамеек, где она сидела, мы постоянно находили черные ленты, которые Люба теряла из своих кос.

Младшая сестра, Саша, капризная и насмешливая, нравилась Глебу. Сейчас ему немислимо было появиться перед ней в измятых брюках. Я чувствовал себя виноватым перед Глебом и упросил маму разгладить глебовские брюки. В разглаженных брюках Глеб тотчас приобрел прежний легкомысленный вид.

Не было ничего особенного в ночной беготне по парку, но я долго помнил об этом. Я вспоминал волны липового цвета, хлынувшие в лицо, крик выпы, всю эту ночь, роящуюся звездами и полную отзвуков веселья.

Мне иногда казалось в то лето, что на земле почти не осталось места для человеческого горя.

Но вскоре после именин я поколебался в этом.

Около нашей дачи я увидел босого мальчика в рваном армячке. Мальчик принес продавать землянику. От него пахло ягодами и дымом. Он попросил за кувшин земляники гривенник, но мама дала ему двадцать копеек и кусок пирога.

Мальчик стоял потупясь и чесал одной босой ногой другую. Он сунул пирог за пазуху и молчал.

– Ты чей? – спросила его мама.

– Аниськин, – ответил он неуверенно.

– Чего же ты не ешь пирог?

– Это мамке, – сказал он сипло, не подымая глаз. – Она недужная. Везла лес, брюхо надорвала.

– А отец где?

– Помер.

Мальчик шмыгнул носом, отступил и бросился бежать. Он испуганно оглядывался и зажимал рукой пазуху, чтобы не потерять пирог.

Я долго не мог забыть этого белоголового мальчика и втайне осуждал маму. Она откупила от укоров совести пирогом и двугривенным. Я хорошо понимал это. Понимал, что горькая несправедливость требует иных поступков, чем жалкие подачки. Но как ее уничтожить, эту несправедливость, – а она все чаще и чаще встречалась мне в жизни, – я еще не знал.

Мы часто слышали споры за чайным столом между отцом и дядей Колей. Они спорили о будущем русского народа. Дядя Коля доказывал, что счастье народа зависит от просвещения. Отец считал, что счастье принесет революция. В споры вмешался Павля. Он называл себя народником. Однажды его даже чуть не исключили из академии за речь на студенческой сходке. Володя Румянцев помалкивал, но потом говорил нам, мальчикам, что ни отец, ни дядя Коля, ни Павля совершенно ничего не понимают.

– А вы понимаете? – спрашивали мы его.

– Ни черта! – с удовольствием отвечал Володя. – И не желаю понимать. Люблю Россию – и баста!

Володя Румянцев был братом любимого товарища дяди Коли по брянскому арсеналу, капитана Румянцева.

Володя был глуховат. В рыжей его бороде торчало сено – он ночевал на сеновале. Он презирал всякие жизненные удобства. Под голову вместо подушки Володя подкладывал свернутую студенческую тужурку. Ходил он, загребая ногами, говорил невнятно. Под тужуркой носил линялую синюю косоворотку и подпоясывал ее черным шелковым шнурком с кистями.

Руки у Володи всегда были сожжены проявителями и фиксажами – Володя занимался фотографией. Человек он был предприимчивый. Он заключил соглашение с московской литографией Шерера и Набгольца – ездил летом по разным глухим городкам, снимал достоприме-

чательности, а литография издавала открытки с видами городов по этим Володиным снимкам. Открытки эти продавались в книжных киосках на вокзалах.

Нам нравилось это Володино занятие. Он часто исчезал из Рёвен на несколько дней, а потом возвращался и рассказывал, что был то в Ефремове, то в Ельце, то в Липецке.

– Вот это житуха, господа гимназисты! – говорил он, сидя в купальне и намыливая рыжую голову. – Третьего дня я переплывал Оку, вчера – Мокшу, а сегодня – Рёвну.

Он заразил нас любовью к провинциальной России. Он превосходно знал ее – знал ярмарки, монастыри, исторические усадьбы, обычаи. Он ездил в Тарханы, на родину Лермонтова, в усадьбу Фета около Курска, в Лебедянь на конскую ярмарку, на остров Валаам и на поле Куликовской битвы.

Всюду у него были какие-то приятельницы-старушки, бывшие учительницы и чиновницы. Он останавливался у них. Они кормили его щами и пирогами с рыбой, а Володя в благодарность учил старушечьих канареек насвистывать польку или дарил старушкам суперфосфат – подсыпать в вазоны с геранью, чтобы вырастить на диво соседям огромные шарлаховые цветы.

Он не участвовал в спорах о судьбах России, но вмешивался в тех случаях, когда разговор заходил о тамбовской ветчине, рязанских мороженных яблоках или волжской стерляди. В знании этих вещей никто не мог тягаться с Володей. Дядя Коля насмешливо говорил, что один только Володя Румянцев знает, почем лапти в Кинешме и сколько стоит фунт куриного пуха в Калязине.

Однажды Володя Румянцев ездил в Орел и привез нам печальное известие.

Мы играли в крокет около дачи. Увлечение крокетом было всеобщее. Часто игра затягивалась до темноты. Тогда на крокетную площадку выносили лампы.

Нигде так не ссорились, как на крокете. Особенно со старшим моим братом Борей. Он играл хорошо и быстро становился «разбойником». Тогда он крокировал наши шары и загонял их так далеко, что подчас мы их вовсе не находили. Мы злились и, когда Боря целился, бормотали: «Черт под руку, жаба в рот!» Это заклинание иногда помогало, и Боря промахивался.

Ссорились мы и с Глебом. Когда Глеб играл против Саши, он всегда мазал и нарочно проигрывал, чтобы доставить удовольствие этой девчонке. А играя с Сашей против нас, показывал чудеса ловкости и нахальства и всегда выигрывал. Обычно на крокете собиралось все дачное общество. Даже обе собаки дяди Коли, Мордан и Четвертак, прибегали посмотреть на крокет, но предусмотрительно ложились за соснами, чтобы не подвертываться под шары.

В это утро на крокетной площадке было, как всегда, очень шумно. Потом послышался стук колес. К даче дяди Коли подкатил тарантас. Кто-то крикнул: «Володя Румянцев приехал!» Никто не обратил на это внимания: все привыкли к частым отъездам и возвращениям Володи.

Через минуту появился Володя. Он шел к нам в пыльном балахоне, в сапогах. Лицо у него было сморщено, будто он собирался заплакать. В руке он держал газету.

– Что такое? – испуганно спросил его дядя Коля.

– Чехов умер.

Володя повернулся и пошел обратно на дачу.

Мы побежали за ним. Дядя Коля отобрал у Володи газету, прочел ее, бросил на стол и ушел к себе в комнату. Встревоженная тетя Маруся ушла вслед за ним. Павля снял пенсне и долго протирал его носовым платком.

– Костик, – сказала мне мама, – пойди на реку, позови папу. Пусть хоть сейчас он бросит эту свою рыбную ловлю.

Она сказала это так, будто отец уже мог знать о смерти Чехова, но по легкомыслию своему не придавал этому значения и не огорчался.

Я обиделся за отца, но все же пошел на реку. Со мной пошел и Глеб Афанасьев. Он неожиданно стал очень серьезным.



– Да, Костик!.. – сказал он мне по дороге и тяжело вздохнул.

Я сказал отцу, что умер Чехов. Отец сразу осунулся и сгорбился.

– Ну вот, – сказал он растерянно, – как же это так... Не думал я, что переживу Чехова...

Мы возвращались мимо крокетной площадки. На ней валялись брошенные молотки и шары. В липах шумели птицы, сквозило солнце, падало зелеными пятнами на траву.

Я уже читал Чехова и очень его любил. Я шел и думал, что такие люди, как Чехов, никогда не должны умирать.

Через два дня Володя Румянцев уехал в Москву на похороны Чехова. Мы провожали его до станции Синезерки. Володя вез корзину с цветами, чтобы положить их на чеховскую могилу. Это были обыкновенные полевые цветы. Мы собрали их в лугах и в лесу. Мама упаковала их, переложив сырым мхом и прикрыла мокрой холстиной. Мы старались нарвать побольше деревенских цветов, потому что были уверены, что их любил Чехов. Мы собрали много купены, гвоздики, золототысячника и ромашки. Только тетя Маруся нарезала в парке немного жасмина.

Поезд отошел вечером. Из Синезерок мы возвращались в Рёвны пешком и пришли домой только на рассвете. Молодой месяц низко висел над лесом, и нежный его свет блестел в дождевых лужах. Недавно прошел дождь. Пахло мокрой травой. В парке куковала запоздалая кукушка. Потом луна зашла, загорелись звезды, но их скоро закрыл рассветный туман. Он долго шуршал, стекая с кустов, пока не взошло и не пригрело землю спокойное солнце.

## **Я был, конечно, мальчишкой**

Инспектор Бодянский быстро вошел к нам в третий класс. Бодянский был в новом форменном сюртуке. Глаза инспектора хитро блеснули. Мы встали.

– По случаю высочайшего манифеста о даровании нашему народу гражданских свобод, – сказал Бодянский, – занятия в гимназии прекращаются на три дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Но советую не путаться в эти дни у взрослых под ногами.

Мы выбежали из гимназии. В тот год стояла необыкновенная осень. В октябре еще жарко грело солнце. Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. Мы ходили в летних шинелях.

Мы высыпали на улицу и увидели около длинного здания университета толпы с красными флагами. Под колоннами университета говорили речи. Кричали «ура». Вверх летели шапки.

Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали «ура» и бросали в воздух фуражки. Падая, они застревали в каштанах. Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим дождем. Мы хохотали и были в восторге. У нас на шинелях были уже приколоты красные банты. Черный бронзовый Николай Первый стоял, выставив ногу, на постаменте среди сквера и надменно смотрел на этот беспорядок.

Толпа затихла, красные флаги склонились, и мы слышали торжественное пение:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Все начали опускаться на колени. Мы тоже сняли фуражки и пели похоронный марш, хотя и не знали всех слов. Потом толпа поднялась с колен и двинулась мимо ограды Николаевского сквера. Я увидел в толпе старшего брата Борю и нашего жильца, студента-черногорца Марковича.

– Иди сейчас же домой! – сказал мне Боря. – И не смей один выходить на улицу.

– Я хочу с тобой, – робко сказал я.

– Тебя задавят. Ступай домой. Завтра все увидишь.

Мне очень хотелось идти вместе с этой счастливой и торжественной толпой. Но Боря уже исчез.

Где-то далеко впереди загремел оркестр, и я узнал крылатые, звенящие звуки «Марсельезы»:

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног!

Я перелез через ограду и смешался с толпой. Девушка в каракулевой шапочке, должно быть курсистка, протянула мне руку, и мы пошли. Я ничего не видел перед собой, кроме спин. На крышах стояли люди и махали нам шапками.

Когда мы проходили мимо Оперного театра, я услышал топот копыт. Я влез на тумбу и увидел цепь конных городских. Они пятились, давая толпе дорогу. Вместе с городскими пятился и толстый полицмейстер. Он держал руку под козырек и снисходительно улыбался.

Я слез с тумбы и опять уже ничего не видел. Только по вывескам магазинов я узнавал, куда мы идем. Вот мы спускаемся по Фундуклеевской мимо театра Бергонье, вот поворачиваем на Крещатик и идем мимо кондитерской Кирхгейма. Мы миновали Лютеранскую улицу и книжный магазин Идзиковского.

– Куда мы идем? – спросил я девушку в каракулевой шапочке.

– К городской думе. Там будет митинг. Мы теперь свободные, как птицы. Вы понимаете?

– Понимаю, – ответил я.

– Где вы живете? – неожиданно спросила она.

– На Никольско-Ботанической.

– Родители знают, что вы на демонстрации?

– Все сейчас на демонстрации, – ответил я, стараясь обойти разговор о родителях.

Мы прошли магазин сухих фруктов Балабухи и Николаевскую улицу и остановились. Дальше идти было нельзя. До самой думы стояла густая толпа. На крыше думы блестел позолоченный архистратиг Михаил – герб города Киева. Был виден широкий думский балкон. На нем стояли люди без шапок. Один из них начал говорить, но ничего не было слышно. Я видел только, как ветер шевелил его седые волосы.

Кто-то схватил меня за плечо. Я оглянулся. Сзади стоял латинист Субоч.

– Паустовский Константин, – сказал он строго, но глаза его смеялись, – и ты здесь! Немедленно отправляйся домой.

– Не беспокойтесь, он со мной, – сказала девушка.

– Извините, мадемуазель, я не знал, – вежливо ответил Субоч.

Толпа подалась назад и отделила нас от Субоча. Девушка взяла меня за руку, и мы начали пробираться к тротуару.

– Спокойно, граждане! – крикнул рядом хриплый голос.

Стало очень тихо. Девушка выбралась со мной на тротуар. Она тащила меня к стене желтого дома со сводчатыми воротами. Я узнал здание почтамта.

Я не понимал, почему она так крепко держит меня и тащит в подворотню. Я ничего не видел, кроме человеческих спин и голубей – они носились над толпой, поблескивая на солнце, как листы бумаги. Где-то далеко пропела труба: ти-ти-та-та! ти-ти-та-та! Потом опять стихло.

– Товарищи солдаты! – снова крикнул надорванный голос, и сейчас же после этого сильно треснуло, будто рванули коленкор. На нас посыпалась штукатурка.

Голуби метнулись в сторону, и небо оказалось совершенно пустым. Раздался второй треск, и толпа бросилась к стенам.

Девушка втащила меня во двор, и последнее, что я видел на Крещатике, был маленький студент в расстегнутой шинели. Он вскочил на подоконник магазина Балабухи и поднял черный браунинг.

– Что это? – спросил я девушку.

– Стреляют! Войска стреляют.

– Зачем?

Она не ответила. Мы бежали с ней через узкие и запутанные дворы. Сзади были слышны крики, выстрелы, топот ног. День сразу потемнел и затянулся желтым дымом. Мне было трудно бежать из-за ранца. В нем гремели книги.

Мы выбежали дворами на Прорезную улицу и поднялись к Золотым Воротам. Мимо нас промчались две лакированные кареты скорой помощи. Нас обгоняли, задыхаясь, бледные люди. На Прорезной проскакал отряд казаков. Впереди скакал офицер с обнаженной шашкой. Кто-то пронзительно свистнул вслед казакам, но они не остановились.

– Боже, какая подлость! – повторяла девушка. – Какая западня! Одной рукой дать свободу, а другой – расстреливать!

Мы сделали большой круг и мимо Владимирского собора вышли к Николаевскому скверу – как раз к тому месту, где недавно я висел на ограде, кричал «ура» и махал фуражкой.

– Спасибо, – сказал я девушке. – Отсюда близко. Я дойду сам.

Девушка ушла. Я прислонился к ограде сквера и снял фуражку – она мне давила голову. Голова сильно болела. Мне было страшно. Около меня остановился старик в котелке и спросил, что со мной. Я не мог ничего ответить. Старик покачал головой и ушел.

Я натянул фуражку и пошел к себе на Никольско-Ботаническую. Уже темнело. Багровый закат светился в окнах. В это время обыкновенно загорались фонари. Но сейчас их почему-то не зажигали.

На углу нашей улицы я увидел маму. Она быстро шла мне навстречу. Она схватила меня за плечи, потом вдруг крикнула:

– Где Боря? Ты не видел Боря?

– Там! – показал я в сторону Крещатика.

– Иди домой! – сказала мама и побежала вверх по улице.

Я постоял, посмотрел ей вслед и побрел домой. На нашей улице было, как всегда, пустынно. В окнах уже горел свет. Я увидел лампу с зеленым абажуром на столе в папином кабинете. У открытой калитки стояла горничная Лиза. Она сняла с меня ранец, вытерла мне лицо своим платком и сказала:

– Гулена! С ума сойти из-за вас! Идем, умоешься.

Дома я застал только Галя и Диму. Галя ходила по комнатам, натыкалась на стулья и повторяла: «Где же все? Где же все?» Дима сидел на подоконнике и прислушивался. Он не попал на демонстрацию. Ему хотелось услышать ружейную стрельбу. Он надеялся, что услышит ее, сидя на подоконнике.

Я умылся. Лиза дала мне горячего молока. Я все время всхлипывал.

– Ты видел убитых? – спросил меня Дима.

– Ага! – промычал я, ничего не соображая.

– Не лезь к нему! – сердито сказала Галя. – Видишь, на кого он похож!

Потом наконец пришла мама вместе с Борей. Боря был в пыли и без фуражки. Он странно улыбался, будто его оглушили. Вскоре после мамы вернулся студент Маркович. Он рассказал, что видел много убитых и раненых.

Мама опустила шторы на окнах и приказала Лизе никому не открывать дверей, не разувая, кто звонит. Потом мама уснула. Перед тем как лечь, я поднял штору и посмотрел на улицу. Фонари до сих пор не горели. Непонятный серый свет падал на крыши. Было так тихо, будто город вымер. По соседней улице проскакал всадник, и снова все смолкло.

Я опустил штору, разделся и лег. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный дом похож на крепость. Никакие пули его не пробьют. Потрескивал зеленый язычок лампадки. Я начал дремать. Сквозь дремоту я услышал звонок, торопливые шаги, потом голос отца. Он ходил по столовой из угла в угол и все время говорил.

Утром мама сказала, чтобы я никуда не смел уходить дальше нашего двора. Я огорчился и решил совсем не выходить из дому. Я накинул шинель, уселся на балконе и начал учить заданные нам стихи Некрасова. Но я успел выучить всего две строчки: «Поздняя осень. Грачи улетели. Лес обнажился, поля опустели». Меня все отвлекало. Проехала пожарная команда. Потом из флигеля вышел штабс-капитан Задорожный, черносотенец и грубиян. На нем была серая шинель, португез, а на боку, кроме шашки, висел в кобуре револьвер. За ним на крыльцо вышла его жена – тощая, как гладильная доска, растрепанная женщина с синими подтеками под глазами. На ней качался японский черный халат, вышитый павлинами.

Задорожный недавно вернулся с японской войны с двумя огромными сундуками. В сундуках были куски чесучи, халаты, веера и даже кривой китайский меч. «Герой Мукдена!» – насмешливо называл Задорожного отец.

– Жорж, – жеманно пропищала Задорожная, – имейте в виду, что я беспокоюсь.

– Пустое, мой друг! – браво ответил Задорожный и поцеловал ей руку. – Мы только прикончим весь этот гевалт.

И он ушел, не оглядываясь.

Только что окончилась японская война, и мы, дети, наравне со взрослыми огорчились и негодовали.

Мы слышали разговоры взрослых о бездарном командовании, о «тюфяке» Куропаткине, предательстве Стесселя, сдаче Порт-Артура и казнокрадах-интендантах. Самодержавная Россия расплзалась в клочья, как прелое рядно.

Но вместе с тем мы слышали и разговоры взрослых о мужестве и великой выносливости русского солдата, о том, что так дальше продолжаться не может и что пришли сроки народному долготерпению.

Самым страшным ударом для нас была гибель русского флота под Цусимой. Как-то Боря показал мне листок бумаги. На нем были отпечатаны на гектографе бледные лиловые строчки. Их едва можно было прочесть.

– Это прокламация? – спросил я. Мне пришлось уже несколько раз читать прокламации, расклеенные на стенах нашей гимназии.

– Нет, – ответил Боря, – это стихи.

Я с трудом разобрал их начало:

Довольно, довольно, герои Цусимы!  
Вы жертвой последней легли.  
Она уже близко, она у порога,  
Свобода родимой земли!

Свобода! Я тогда еще смутно представлял себе, что это такое. Я представлял ее такой, как на аллегорической картине, висевшей в папином кабинете. Там молодая женщина с гневным и сияющим лицом, с обнаженной крепкой грудью стояла на баррикаде. В одной руке она высоко держала красное знамя, а другой рукой прикладывала к оружию дымящийся фитиль. Это и была Свобода. За ней теснились люди в синих блузах с ружьями в руках, измученные, но радостные женщины, мальчишки и даже молодой поэт в рваном цилиндре. Все люди вдохновенно пели, должно быть, «Марсельезу»: «К оружию, граждане! Час славы настал!»

Били барабаны, пели трубы, Свобода победно шла по стране, и бурные народные клики приветствовали ее появление.

Позади Свободы шел человек, очень похожий на студента Марковича, такой же смуглый, с горящими глазами. Он держал в руке пистолет.

Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напевая, чистит стальной черный браунинг. Медные маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике.

Маркович заметил меня и тотчас прикрыл браунинг газетой.

На следующее утро Лиза сняла со стен иконы и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились как в крепости.

Мама сказала, что в городе начался еврейский погром. «По приказу из Петербурга», – добавила она. А Лиза шепотом сообщила, что уже громят дома на Васильковской улице и погром приближается к нам.

Маркович ушел вместе с Борей. Маркович надел сапоги, а студенческую тужурку стянул ремнем. Мама не хотела пускать Борю, но отец прикрикнул на нее. Тогда она перекрестила Борю, поцеловала и отпустила. Все время, пока Боря спускался с Марковичем по лестнице, она просила Марковича, чтобы он смотрел за Борей.

– Куда они ушли? – спросил я отца.

– В студенческую боевую дружину. Защищать евреев.

Вслед за Борей и Марковичем ушел и отец. Мы с Димой весь день слонялись по двору. В полдень мы услышали выстрелы. Потом выстрелы стали чаще. На Васильковской начался пожар. У нас во дворе падали хлопья сгоревшей бумаги.

Днем отец привел растерянную старушку-еврейку со сползшим с седой головы платком. Она вела за руку безмолвного мальчика. Это была мать знакомого доктора.

Мама позвала Игнатия, вышла к нему на кухню и дала ему десять рублей. Но Игнатий отдал маме деньги и сказал:

– У меня самого в дворницкой сидит портной Мендель со всем семейством. Поглядывайте лучше, чтобы Задорожная не заметила.

Перед вечером к нашим воротам подошел низенький парень в черном картузе. Мокрый кок торчал из-под его картуза. Весь подбородок был облеплен шелухой от семечек.

За парнем осторожно шагал высокий бритый старик в коротких брючках и канотье, за ним – вертлявый человек без шапки, с заплывшими глазками и тучная старуха в теплой шали, а за ней – несколько вороватого вида молодых людей. Торговку эту мы часто видели раньше на Галицком базаре. Сейчас она несла пустой новый мешок.

– Отчиняй! – крикнул парень и стукнул в калитку ломом.

Из дворницкой вышел Игнатий.

– Жиды есть? – спросил его парень.

– Такие, как ты, – лениво ответил Игнатий.

– Жидов ховаете? – крикнул парень и затряс калитку. – Мы в полной известности. Отчиняй.

– Вот попрошу сюда полковника Задорожного, – пригрозил Игнатий, – он с тобой поговорит по-своему.

– Плевал я на иерусалимских полковников! Мы из твоего полковника сделаем юшку!

Тогда мадам Задорожная, подслушивавшая этот разговор из флигеля, не выдержала. Она промчалась, как разъяренная курица, через двор. Рукава ее черного халата развевались и хлоппали.

– Хам! – крикнула она и плюнула через решетчатую калитку в лицо парню. – Как ты смеешь оскорблять офицера императорской армии? Босяк! Василий! – завизжала она. – Иди сюда, маруда!

Из флигеля выскочил оторопевший денщик. Он подхватил у сарая топор и побежал к калитке. Парень отскочил и побежал вдоль улицы, оглядываясь на денщика. Спутники его засеменили за ним. Денщик пригрозил парню топором.

– Новости! – сказала мадам Задорожная, запахивая халат и возвращаясь во флигель. – Каждый хам будет выдавать себя за истинно русского! Нет, извините! Имейте в виду, что этот номер никому не пройдет!

Так неожиданно жена черносотенца отвела от нашего дома громил. Взрослые потом долго посмеивались над этим.

Парень остановился у соседнего дома и тоже начал колотить в ворота. Тогда Дима потащил меня на чердак над нашей квартирой. Там давно висела без всякого употребления огромная рогатка. Мы звали ее «катапультой».

Толстая резиновая полоса была наглухо прибита гвоздями к раме выбитого слухового окна. Рогатка эта осталась в наследство от мальчишки, жившего до нас в этом доме.

Я подобрал на чердаке кусок твердого желтого кирпича. Дима заложил его в рогатку и зажал. Мы вдвоем изо всей силы натянули рогатку, прицелились в парня и выстрелили.

Кирпич, сбивая листья и свистя, пронесся через двор, с грохотом ударил у ног высокого старика, проходившего по тротуару, и взорвался – рассыпался на десятки осколков. Мы промахнулись.

Старик присел от неожиданности, потом вскочил и кинулся бежать. За ним, громяхая сапогами, помчался парень.

– Давай второй кирпич! – крикнул мне Дима.

Но я опоздал – парень уже скрылся за угловым домом.

– Ты не так тянул, – сказал Дима, – поэтому мы и промазали. Ты тянул вкось.

Дима всегда любил сваливать ошибки на других и потом долго спорить.

Хотя мы промахнулись, но все же гордились этим выстрелом из «катапульты».

Вечером Лиза понесла в дворницкую к Игнатию пшенную кашу, чтобы накормить семью портного Менделя. Я увязался за Лизой.

Окна в дворницкой были завешены. Игнатий сидел на табурете, тихонько наигрывал на гармонике и напевал вальс «На сопках Маньчжурии» – память о японской войне:

Страшная ночь, только ветер на сопках рыдает...

Семья Менделя спала, а он сам сидел при керосиновой лампочке и наметывал белыми нитками новый пиджак.

– За тобой гоняются, – сказал он, – чтобы убить, а ты шей и шей. Иначе не с чего жить.

Лиза стояла у дверей и, пригорюнившись, слушала пение Игнатия.

В вышине одиноко томится луна

И могилы солдат озаряет...

## Красный фонарик

Я зажег фонарик с красным стеклом. Внутри фонарика была вставлена керосиновая лампочка.

Фонарик осветил багровым светом тесный чулан и пыльную рухлядь, сваленную на полках.

Я начал проявлять пленки, снятые отцом. У отца был маленький «кодак». Отец любил снимать, но снятые катушки с пленкой валялись потом месяцами в ящике отцовского письменного стола. Перед большими праздниками в доме начиналась уборка. Мама вытаскивала эти катушки, отдавала мне, и я их проявлял.

Это было увлекательное занятие, потому что я никогда не мог угадать, что появится на пленках. Кроме того, мне нравилось, что в чулан, пока я проявлял, никто не смел входить, даже мама. Я был отрезан от мира. Привычные звуки – стук тарелок, бой часов, пронзительный голос горничной Лизы – почти не проникали в чулан.

На стене чулана висела маска из папье-маше. Она изображала курносого клоуна с выпуклыми, как шишки, красными щечками. Из-под маленького белого цилиндра, надетого набекрень, торчал рыжий клоч пакли.

В свете красного фонарика маска оживала. Клоун заглядывал в черную ванночку, где лежала в проявителе пленка. Он даже подмигивал мне. От него пахло клейстером. Иногда в квартире все затихало – так случается даже в самых шумных семьях. Тогда мне становилось не по себе с глазу на глаз с этим клоуном.

Постепенно я изучил его характер. Я знал, что клоун человек насмешливый, что у него нет ничего святого на свете и что в конце концов он отомстит нам за то, что мы всю жизнь держим его в чулане. Мне даже мерещилось, что клоун, наскучив молчанием, что-то бормотал иногда или напевал песенку:

На заборе чепуха  
Жарила варенье.

Куры съели петуха  
В это воскресенье.

Но стоило мне открыть дверь чулана и впустить синеватый дневной свет, как клоун тотчас умирал и покрывался пылью.

На этот раз отец сам принес мне несколько катушек с пленкой и попросил проявить.

Отец только что возвратился из поездки в Москву. Было начало января 1906 года. В Москву отец попал в последние дни Декабрьского восстания. Он рассказывал о баррикадах на Пресне, дружинниках, артиллерийском огне. Несмотря на неудачу восстания, отец приехал возбужденный, прохваченный московским морозом. Он был твердо уверен, что не за горами всеобщее восстание в России и долгожданная свобода.

– Прояви получше, – сказал отец. – Там есть исторические московские снимки. Только я не помню, на каких катушках.

Все катушки были совершенно одинаковые. Отец не делал на них пометок. Пришлось проявлять наугад.

На первой катушке московских снимков не оказалось. Там было только несколько снимков худого маленького человека в коротком пиджаке, с галстуком, завязанным бантом. Человек этот стоял около стены. На ней висела длинная узкая картина.



Долго я ничего не мог разобрать на этой картине. Потом я наконец увидел худое горбоносое лицо с огромными печальными глазами. Лицо это было завалено птичьими перьями.

Отец подошел к чулану и спросил:

– Ну как? Есть московские снимки?

– Пока нет. Есть какой-то старичок около картины на стене.

– Это же Врубель! Разве ты его не помнишь? Смотри не передержи.

– На картине ничего не проявилось. Только лицо и какие-то перья.

– Так и нужно, – ответил отец. – Это «Демон».

Отец ушел. Тогда я вспомнил, как однажды отец за утренним чаем сказал маме, что в Киев приехал на несколько дней Михаил Александрович Врубель и просил отца зайти к нему в гостиницу.

– Не понимаю я твоего увлечения Врубелем, – недовольно ответила мама. – Декадентщина какая-то! Боюсь я этих одержимых художников.

Но отец все же пошел к Врубелю и взял меня с собой. Мы вошли в гостиницу около Золотых Ворот и поднялись на пятый этаж. В коридоре пахло гостиничным утром – одеколоном и кофе. Отец постучал в низкую дверь. Нам открыл худенький человечек в поношенном пиджаке. Лицо, волосы и глаза у него были такого же цвета, как и пиджак, – серые с желтоватыми пятнами. Это и был художник Врубель.

– Это что за юный субъект? – спросил он и крепко взял меня за подбородок. – Ваш сын? Совершенно акварельный мальчик.

Он схватил отца за руку и повел к столу.

Я боязливо осматривал комнату. Это была мансарда. Несколько рисунков, написанных акварелью, были приколоты булавками к темным обоям.

Врубель налил отцу и себе коньяку, быстро выпил свой коньяк и начал ходить по комнате. Он громко постукивал каблуками. Я заметил, что каблуки у него были очень высокие.

Отец сказал что-то похвальное о припиленных к обоям рисунках.

– Тряпье! – отмахнулся Врубель.

Он перестал метаться по комнате и сел к столу.

– Что-то я все время верчусь, как белка, – сказал он. – Самому надоело. Не поехать ли нам на Лукьяновку, Георгий Максимович?

– В Кирилловскую церковь?

– Да. Хочу посмотреть свою работу. Совсем ее позабыл.

Отец согласился. Мы втроем поехали на извозчике на Лукьяновку. Извозчик долго вез нас по бесконечной Львовской улице, потом по такой же бесконечной Дорогожицкой. Врубель и отец курили.

Я смотрел на Врубеля, и мне было его жалко. Он дергался, перебегал глазами, непонятно говорил, закуривал и тотчас бросал папиросу. Отец разговаривал с ним ласково, как с ребенком.

Мы отпустили извозчика около Федоровской церкви и пошли пешком по улицам Лукьяновки, среди садов. Мы вышли к обрыву. Дорога петлями пошла вниз. Там, внизу, виднелся маленький купол Кирилловской церкви.

– Посидим немного, – предложил Врубель.

Мы сели на землю на обочине дороги. Пыльная трава росла вокруг. Над Днепром синело вялое небо.

– Плохо, Георгий Максимович, – сказал Врубель, ударил себя по дряблой щеке и засмеялся. – Мне надоело таскать эту противную свою оболочку.

Я, конечно, плохо понимал слова Врубеля, да и не запомнил бы весь этот разговор, если бы отец не рассказывал о нем маме, а потом дяде Коле и некоторым знакомым и если бы все они не жалели Врубеля.

В Кирилловской церкви Врубель молча рассматривал собственные фрески. Они казались вылепленными из синей, красной и желтой глины. Мне не верилось, что такие большие картины на стене мог нарисовать этот худенький человек.

– Вот это живопись! – воскликнул Врубель, когда мы вышли из церкви.

Я удивился, что отец отнесся к этим словам спокойно и даже согласился с Врубелем, тогда как ни мне, ни моим братьям он не позволял сказать ни одного хвастливого слова. Поэтому, когда мы расстались с Врубелем на Рейтарской улице, я сказал отцу, что Врубель мне не понравился.

– Почему? – спросил отец.

– Он хвастун.

– Дурачок! – отец похлопал меня по спине. – Не горбься!

– Почему дурачок? – спросил я обиженно.

– Прежде всего надо знать, – ответил отец, – что Врубель замечательный художник. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А потом, еще надо знать, что он больной человек. Он душевно неуравновешенный. И еще надо знать один золотой закон: никого не осуждать сгоряча. Иначе ты всегда попадешь в глупое положение. Перестань же, наконец, горбиться! Я ничего не сказал тебе обидного.

На картине за спиной Врубеля, хотя пленка уже проявилась, трудно было что-нибудь разобрать. Я только знал, что это «Демон».

Увидел я эту картину впервые гораздо позже, зимой 1911 года, в Третьяковской галерее.

Москва дымилась от стужи. Пар вырывался из набухших дверей трактиров. Среди уютного московского снега, заиндевелых бульваров, заросших льдом окон и зеленоватых газовых фонарей сверкала, как синий алмаз, как драгоценность, найденная на сияющих вершинах Кавказа, эта картина Врубеля. Она жила в зале галереи холодом прекрасного, величием человеческой тоски.

Я долго стоял перед «Демоном». Впервые я понял, что созерцание таких картин не только дает зрительное наслаждение, но вызывает из глубины сознания такие мысли, о каких человек раньше и не подозревал.

Я вспоминал Лермонтова. Мне представлялось, как он, осторожно позванивая шпорами, входит в Третьяковскую галерею. Входит, ловко скинув внизу, в вестибюле, серую шинель на руки сторожу, и потом долго стоит перед «Демоном» и разглядывает его сумрачными глазами.

Это он написал о себе горькие слова: «Как в ночь звезды падучей пламень, не нужен в мире я». Но боже мой, как он ошибался! И как нужен миру этот мгновенный пламень падучих звезд! Потому что не единым хлебом жив человек.

Он считал себя пленником земли. Он растратил жар души в пустыне. Но пустыня расцвела после этого и наполнилась его поэтической силой, его гневом, тоской, его постижением счастья. Ведь это он застенчиво признался: «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой». И кто знает, может быть, острый и режущий воздух горных вершин, забрызганных кровью демона, наполнен очень слабым, очень отдаленным запахом этого приветливого лесного цветка. А он, Лермонтов, как и этот поверженный демон, – просто ребенок, не получивший от жизни того, к чему он страстно стремился: свободы, справедливости и любви.

– Ну что, – снова спросил меня из-за двери отец, – есть уже московские снимки?

Голос отца вывел меня из оцепенения. Я начал проявлять следующую катушку и позавыл о Врубеле. На пленке появились заваленные снегом московские улицы с низкими домами. Поперек улицы были построены из бочек, досок, камней и вывесок невысокие баррикады. Около баррикад стояли штатские люди, но с винтовками и револьверами в руках.

Потом появились высокие дома, пробитые снарядами, Горбатый мост, Зоологический сад, весь в дыму пожара, простреленные вывески трактиров, опрокинутые трамваи.

Все это было затянуто зимней муťou, и тут уже я ничем не мог помочь. Никакой проявитель не мог разесть эту муťу и сообщить ясность снимкам.

Эта муťу хорошо передавала самую обстановку восстания. Казалось, что от снимков тянет пороховым дымком.

Восстание! Это слово звучало необычно в тогдашней, как будто патриархальной России. Я читал повести о восстании индусов, знал о восстании коммунаров в Париже, о мятеже декабристов, но Московское восстание казалось мне самым сильным и романтическим.

Я достал карту Москвы. Отец показал мне на ней все места, где были бои и баррикады, – Чистые пруды, Самотеку, Кудринскую площадь, Грузины, Пресню и Горбатый мост. С тех пор самые эти названия были овеваны для меня особой прелестью мест, ставших историческими на моей памяти.

Все, что окружало это восстание, приобрело для меня значительность: московская лохматая зима, чайные, где собирались дружинники, смешение древних московских черт с новой эпохой, связанной с восстанием.

Извозчики в рваных армяках, крендели над булочными, торговки с горячими пирогами, а рядом – свист пуль, перебежки, сталь револьверов, красные флаги, пение «Варшавянки»: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут».

В этом была поэзия борьбы, дыхание недалекой свободы, еще туманной, как чуть забрезживший зимний рассвет. Были бодрость, вера, надежда.

Вся огромная российская равнина следила за заревами, полыхавшими на Пресне, ждала победы дружинников. Это восстание было подобно зимней грозе – предвестнице новых гроз и новых освежающих потрясений.

Сейчас я могу передать то приподнятое состояние, что овладело мною тогда. В то время я все это чувствовал, но не мог объяснить.

На следующий день я отпечатал все снимки и отнес отцу. Уже смеркалось. В кабинете горела лампа. Она освещала на письменном столе знакомые вещи: стальную модель паровоза, статуэтку Пушкина с курчавыми баками и груды сатирических революционных журналов – их много выходило в то время. На самом видном месте стояла открытка с портретом лейтенанта Шмидта в черном плаще с застежками в виде львиных голов.

Отец лежал на диване и читал газету. Он просмотрел все снимки и сказал:

– Невероятная страна! Врубель и восстание! Все уживается вместе, и все ведет к одному.

– К чему к одному?

– Все ведет к лучшему. Ты еще много увидишь интересного, Костик. Если сам, конечно, будешь интересным человеком.

## Пустынная Таврида

Через два года, когда мне было уже четырнадцать лет, мама настояла, чтобы мы на этот раз поехали на лето не в Рёвны, а в Крым. Она выбрала самый тихий из крымских городков – Алушту.

Ехали мы через Одессу. Гостиницы в Одессе были переполнены. Пришлось остановиться в подворье Афонского монастыря, около вокзала. Монастырские послушники – бледные юноши в рясах и черных лакированных поясах – угощали нас щами из крапивы и сушеной камсы.

Я был в восторге от этих щей, от нарядного белого города, шипучей сельтерской воды и от порта. Над ним сизыми тучами носились голуби и перемешивались с белыми тучами чаек.

Опять я встретился с морем. У этих степных берегов оно было ласковее, чем у берегов Кавказа.

Старый пароход «Пушкин» шел в Ялту. Над морем стоял штиль. Дубовые планширы нагревались так сильно, что на них нельзя было положить руку. В салоне все подрагивало и звенело от вращения парового винта. Солнце проникало через световой люк, иллюминаторы и открытые двери. Меня поражало обилие южного света. От него сверкало все, что только могло сверкать. Даже грубые парусиновые занавески на иллюминаторах вспыхивали ярким огнем.

Крым поднялся из морской голубизны, как остров сокровищ. Облака лежали на вершинах его сиреневых гор. Белый Севастополь медленно плыл нам навстречу. Он встретил наш старый пароход полуденным пушечным выстрелом и голубыми крестами андреевских флагов.

«Пушкин» долго бурлил, разворачиваясь в бухте. Со дна взлетали фонтаны пузырей. Вода шипела. Мы носились с борта на борт, чтобы ничего не пропустить. Вот Малахов курган и Братское кладбище, Графская пристань, Константиновский форт, выдвинутый в самые морские буруны, и мятежный крейсер «Очаков», окруженный понтонами. Катера с военных кораблей проносились мимо, отбрасывая на корму малахитовую воду.

Я смотрел как зачарованный на все вокруг. Значит, на самом деле, а не только в книгах существует этот город, где умер Нахимов, где рвались на бастионах круглые ядра, где сражался артиллерист Лев Толстой, где клялся в верности народу лейтенант Шмидт. Вот он здесь, этот город, – в горячем дне, в перистой тени акаций.

До Ялты «Пушкин» добрался вечером. Он медленно вплывал в ялтинскую гавань, как в садовую беседку, убранную огнями.

Мы спустились на каменный мол. Первое, что я увидел, была тележка черномазого торговца. Над ней висел на шесте фонарь. Он освещал пушистые персики и большие сливы, покрытые сизым налетом.

Мы купили персиков и пошли в гостиницу «Джалита». Веселые носильщики тащили наши вещи.

Я так устал, что в гостинице тотчас уснул, едва заметив сороконожку, притаившуюся в углу, и черные кипарисы за окнами. Несколько мгновений я еще слышал, как тоненьким голосом напевал фонтан среди двора. Потом сон поднял меня и понес, покачивая, как в каюте, куда-то далеко, в чудесную страну – сестру таинственного Крыма.

После Ялты с ее пышной набережной Алушта показалась мне скучной. Мы поселились на окраине, за Стахеевской набережной.

Каменистая земля, пахучие заросли туи, пустое море и далекие Судакские горы – вот все, что окружало нас в Алуште. Больше в Алуште ничего не было. Но и этого было достаточно, чтобы я постепенно примирился с Алуштой и полюбил ее.

Мы часто ходили с Галей на соседний виноградник и покупали там сладкую шашлу, крупный холодный чауш и розоватый мускат. На винограднике пели цикады. На земле цвели маленькие, с булавочную головку, желтые цветы.

Из белого низкого дома выходила пожилая женщина Анна Петровна, с таким загорелым лицом, что серые ее глаза казались совершенно белыми. Она нарезала нам виноград. Иногда она высылала к нам свою дочь Лену, босоногую семнадцатилетнюю девушку с выгоревшими косами, заложенными венком вокруг головы, и такими же серыми глазами, как у матери.

Эту девушку взрослые прозвали «русалкой». В сумерки Лена часто проходила мимо нашей дачи, спускалась к морю, купалась и долго плавала, а потом возвращалась с полотенцем на плече и пела:

Там, в голубом просторе,  
В лазоревой дали,  
Забудем мы и горе,  
И бедствия земли.

Галя подружилась с Леной и выпытала у нее все. Галя вообще любила подробно расспрашивать людей обо всех обстоятельствах жизни. Она делала это с упорством близорукого и любопытного человека.

Оказалось, что Анна Петровна – вдова, бывшая библиотекарьша из Чернигова, что Лена заболела туберкулезом и доктора посоветовали увезти ее в Крым. Анна Петровна приехала в Алушту. В Алуште она вышла замуж за старого украинца, владельца виноградника. Старик вскоре умер, и теперь Анна Петровна и Лена остались единственными хозяевами этого виноградника. Зимой Лена жила в Ялте, училась в ялтинской гимназии, но по воскресеньям приезжала в Алушту к матери. Болезнь Лены совершенно прошла.

Лена собиралась после окончания гимназии стать певицей. Галя отговаривала ее от этого. По мнению Гали, единственным достойным занятием для женщины было преподавание. Сама Галя хотела быть сельской учительницей. Мне все эти Галины мысли давно наскучили, тем более что она говорила о своем будущем призвании слишком много и доказывала всем, хотя с ней никто и не спорил, что нет лучшего занятия на свете, чем быть педагогом.

Меня почему-то злило, что Галя отговаривает Лену сделаться певицей. Я любил театр. Назло Гале я восторженно рассказывал Лене обо всех пьесах, какие видел в театре: «Синей птице», «Дворянском гнезде», «Мадам Сан-Жен» и «Горе от ума».

Я многое преувеличивал. Я предсказывал Лене заманчивое будущее. Мне нравилось думать, что загорелая и худенькая эта девушка, плававшая в море лучше любого матроса, когда-нибудь выйдет на сцену в тонком платье с треном, на груди у нее будет вздрагивать от дыхания темный цветок, и даже сквозь пудру будет проступать на ее лице морской загар.

Я окружил Лену своими безудержными мечтами. Она слушала меня, откинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и едва заметно краснела. Иногда она спрашивала:

– Ну сознайтесь, вы все это выдумываете? Правда? Я не буду сердиться.

Она говорила мне «вы», хотя была на три года старше меня. В то время «ты» говорили друг другу только очень близкие люди.

Я не мог сознаться в этом, потому что искренне верил всему, что выдумывал. Это свойство стало причиной многих моих несчастий. Удивительнее всего было то, что за всю жизнь я не встретил ни одного человека, который захотел бы понять или хотя бы оправдать это свойство.

Но Лена мне верила. Ей хотелось верить всему, что я выдумывал. Если два-три дня я не приходил с Галей на виноградник, она сама приносила нам виноград, говорила, смущаясь, маме: «Это Анна Петровна прислала вам в подарок» – и, улучив минуту, быстро шептала мне:

– Ей-богу, это свинство! Почему не приходите?

Отец вскоре уехал из Алушты. Ему нужно было по делам в Петербург. Потом уехал Боря – держать экзамен в Киевский политехнический институт.

Мама была почему-то встревожена отъездом отца и не обращала на нас внимания. Она даже была рада, когда мы целыми днями пропадали у моря и ее не тревожили.

Я все время бродил по пояс в воде и ловил под камнями крабов. Кончилось это тем, что как-то, выкупавшись вечером в море, я простудился и схватил воспаление легких. Вдобавок в первую же ночь, когда я лежал в жару, меня укусила сколопендра.

Шел август. Скоро начинались занятия в гимназии. Надо было возвращаться в Киев. Моя болезнь спутала все карты. В конце концов мама отправила Галю с Димой, а сама осталась со мной.

Я болел тяжело и долго. Все ночи я почти не спал. Было больно дышать. Я старался дышать осторожно и с тоской смотрел на белые стены. Из трещин в стенах выползали сороконожки. Лампа горела на столе. Тени от склянок с лекарствами казались доисторическими чудовищами – они обнюхивали потолок, вытянув длинные шеи.

Я поворачивал голову и смотрел на черное окно. В нем отражалась лампа. За этим отражением гудело море.

Ночная бабочка билась в стекло. Ей хотелось улететь из лекарственной комнатной духоты.

Мама спала в соседней комнате. Я звал ее, просил пить и выпустить бабочку. Мама выпускала ее, и я успокаивался.

Но потом, не знаю как, я видел, что бабочка садилась на сухую траву тут же, за окном, и, немного посидев, возвращалась и опять влетала в комнату, большая, будто сова. Она опускалась мне на грудь. Я чувствовал, что бабочка тяжелая, как камень, и что вот сейчас она раздавит мне сердце.

Я снова звал маму и просил, чтобы она прогнала бабочку. Мама, сжав губы, снимала с меня тугий горячий компресс и укутывала меня одеялами.

Я потерял счет ночам, наполненным непонятным гулом и сухим жаром простынь.

Однажды днем пришла Лена. Я не сразу сообразил, что это она. На ней было коричневое форменное платье, черный передник и маленькие черные туфли. Светлые ее косы были тщательно заплетены и висели, перекинута на грудь, по сторонам загорелого лица.

Лена пришла попрощаться перед отъездом в Ялту. Когда мама вышла из комнаты, Лена положила мне руку на лоб. Рука была холодная, как льдинка. Конец косы упал мне на лицо. Я чувствовал теплый и свежий запах волос.

Вошла мама. Лена быстро убрала руку, а мама сказала, что Лена принесла для меня замечательный виноград.

– Лучшего у нас, к сожалению, нет, – ответила Лена.

Отвечая, она смотрела не на маму, а на меня, будто хотела сказать мне что-то важное.

Потом она ушла. Я слышал, как она сбежала по лестнице. В доме, кроме нас, никто уже не жил, все разъехались, и потому каждый звук был хорошо слышен.

С этого дня я начал поправляться. Доктор сказал, что после того, как я встану, мне надо будет прожить в Алуште не меньше двух месяцев, до самого ноября. Надо окрепнуть и отдохнуть. Тогда мама решила выписать из Киева Лизу, чтобы она присматривала за мной и меня кормила. Сама же мама торопилась в Киев – не знаю почему.

Лиза приехала через неделю, и на следующий же день мама уехала на лошадях в Симферополь.

Лиза все время ахала. Она ни разу не видела моря, кипарисов, виноградников – мама вывезла Лизу в Киев из Брянских лесов, из Рёвен.

Я остался с Лизой. Я уже начинал вставать. Но выходить мне еще не позволяли. Весь день я сидел на застекленной террасе под осенним и не очень жарким солнцем и читал. Я нашел в комодке «Тристана и Изольду». Я несколько раз прочел эту удивительную легенду, и каждый раз после того, как я ее перечитывал, мне становилось все грустнее.

Потом я решил сам написать что-нибудь вроде «Тристана и Изольды» и несколько дней сочинял повесть. Но дальше описания морской бури у скалистого берега я не пошел.

В конце сентября доктор позволил мне наконец выходить. Я бродил один по безлюдной Алуште. Я любил ходить на пристань во время прибоев. Волны катились под дырявым настилом. Через щели взлетали струи воды.

Однажды я зашел к Анне Петровне. Она напоила меня кофе и сказала, чтобы я непременно приходил в воскресенье, так как в этот день должна приехать из Ялты Лена. Все время после этого я думал, как я встречу с Леной.

Это воскресенье я помню ясно, будто оно было вчера, потому что в этот день случилось два события.

Я знал, что Лена приедет из Ялты утренним катером. Я пошел на пристань. Но как только катер показался из-за мыса, я спрятался за дощатый киоск. В нем продавали открытки с видами Крыма. Я сел на камень и просидел там все время, пока катер не подошел к пристани. С него сошла Лена и, поискав кого-то на пристани, медленно пошла домой.

Я боялся, что она меня заметит. Это было бы совсем глупо. Она несколько раз оглянулась, потом возвратилась к пристани и немного постояла у деревянной тумбы с афишами. Она делала вид, что читает афиши, хотя все они уже были оборваны и висели клочьями.

Украдкой я смотрел на нее. На голову она накинула теплый белый платок. Она побледнела и похудела в Ялте. Она стояла около тумбы, опустил глаза, хотя ей надо было поднять их, если она действительно читала афиши. Потом она ушла, уже совсем.

Я подождал немного и вернулся домой. Мне было стыдно своей трусости.

Я не знал, идти мне теперь к Лене или нет. За обедом я ничего не ел. Лиза пригрозила мне, что пошлет об этом телеграмму маме. Лиза была малограмотная, и я только усмехнулся на ее угрозу.

После обеда я наконец решился, надел шинель и вышел. Лиза крикнула мне вслед, чтобы я застегнул шинель, но я не послушался.

Я подошел к винограднику. Он уже был совсем багровый. Я открыл калитку. Тотчас хлопнула дверь в белом доме, и я увидел Лену. Она бежала мне навстречу в одном платье.

Это был хороший день. Я перестал стесняться и рассказывал о Рёвках, учителе географии Черпунове и тете Наде. Лена незаметно подкладывала мне на тарелку то виноград, то сливы – ренклоды. Потом она сказала:

– Почему вы пришли в расстегнутой шинели в такой холод? Перед кем вы франтите?

– Вы же сами выбежали в одном платье, – ответил я.

– Потому что... – сказала она и замолкла. – Потому что у меня не было воспаления легких.

Румянец проступил у нее под загаром. Анна Петровна посмотрела на Лену из-под очков и покачала головой:

– Лена, не забывай, что тебе уже семнадцать лет.

Она сказала это таким тоном, будто Лена была совершенно взрослой женщиной, а между тем делает глупости.

Анна Петровна и Лена проводили меня до дому и зашли ко мне, чтобы посмотреть, как я живу. Лиза покраснела, как свекла, но быстро успокоилась и пожаловалась Анне Петровне, что я не слушаюсь и хожу в расстегнутой шинели. Анна Петровна сказала, чтобы Лиза, если ей что-нибудь нужно, всегда приходила к ней. Лиза обрадовалась. У нее в Алуште не было

знакомых. Изредка она гуляла со мной, собирала полынь и развешивала ее в комнате. Все свободное время она гадала на картах.

Лиза была краснощекая, с заплавленными добрыми глазками и очень доверчивая. Она верила любой чепухе, которую ей рассказывали.

Анна Петровна с Леной ушли. Мне стало скучно. Впереди был длинный вечер. Мне хотелось опять пойти на виноградник, но я знал, что этого нельзя делать.

Я вновь решил писать свою повесть, зажег лампу и сел к столу. Но вместо повести я написал первые стихи. Я их забыл сейчас. В памяти осталась только одна строчка:

О, срывайте цветы на поникших стеблях...

Мне нравились эти стихи. Я собирался писать еще долго, но вошла Лиза, сказала: «Ишь чего выдумал – портить глаза! Давно спать пора» – и задула лампу. Я рассердился, сказал, что я уже взрослый, и обозвал ее дурехой. Лиза ушла к себе, заплакала от обиды и сказала хриплым голосом:

– Вот уйду завтра пешком в Киев, – делай тут один чего хочешь.

Я молчал. Тогда Лиза сказала, что завтра же пошлет маме телеграмму о моем поведении. Она долго что-то ворчала в своей комнате, потом вздохнула:

– Ну, бог с тобой. Спи. Ишь ветер какой забушевал на дворе!

Над головой у меня висели круглые стенные часы. Каждый раз, когда они били два часа ночи, я просыпался. На этот раз я тоже проснулся и долго не мог понять, что случилось. На стене мигал багровый свет. Окно выходило на море. За ним однообразно гудел ветер. Я сел на кровати и выглянул в окно. Над морем качалось зарево. Оно освещало низкие тучи и взволнованную воду.

Я начал торопливо одеваться.

– Лиза! – крикнул я. – Пожар на море!

Лиза зашевелилась, вскочила и тоже начала одеваться.

– Что же это может гореть на воде? – спросила она.

– Не знаю.

– Зачем же ты встал? – спросила Лиза.

Спросонок она плохо соображала.

– Пойду на берег.

– Я тоже.

Мы вышли. Ветер рванул из-за угла дома и охватил меня тугим холодом. Зарево поднялось к небу. Около ворот стоял дворник-татарин.

– Пароход горит, – сказал он. – Что сделаешь, а!

Мы сбежали к берегу. Около пристани, очевидно на спасательной станции, звонил колокол. На берегу стояли кучками люди. Я сразу же потерял в темноте Лизу.

Рыбаки в высоких сапогах и штормовых плащах стаскивали по гальке в море бот. Слышны были торопливые голоса: «Пассажирский», «Мили две от берега», «Корму задерживай, слышь, не давай раскатываться». Мокрые рыбаки полезли в бот, разобрали весла. Бот подняло на волну, и он пошел в море.

Кто-то взял меня за локоть. Я обернулся. Рядом стояла Лена. Зарево слабо освещало ее. Я смотрел на Лену, на ее строгое лицо.

Мы молча стояли у края набережной. В море поднялась белая ракета. За ней поднялась вторая.

– Помощь подходит, – сказала Лена. – Если бы не мама, я пошла бы с рыбаками на боте. Непременно пошла бы.

Она помолчала и спросила:



– Когда ты уезжаешь?

У меня заколотилось сердце – так неожиданно она сказала мне «ты».

– Должно быть, через неделю.

– Значит, я увижу тебя. Я постараюсь приехать пораньше.

– Я буду очень ждать, – ответил я, и мне показалось, что после этих страшных слов я сорвался в пропасть.

Лена слегка оттащила меня от края набережной.

– Что же делать? – спросила она тихо. – Мама напугана. Она где-то здесь, около пристани. Ты не сердись на меня?

– За что?

Она не ответила.

– Лена! – позвала из темноты Анна Петровна. – Где же ты? Идем домой!

– Я завтра уеду утренним дилижансом, – прошептала Лена. – Смотри не вздумай провожать. Прощай.

Она пожала мне руку и ушла. Я смотрел ей вслед. Несколько мгновений – не больше – был виден ее белый платок, накинутый на голову.

Зарево на море тускло. Над водой лег зеленый луч прожектора. Это подходил на помощь горящему пароходу миноносец «Стремительный». Я разыскал Лизу, и мы вернулись домой.

Мне хотелось скорее лечь и уснуть, чтобы не думать о том удивительном и хорошем, что произошло только что между мной и Леной.

Утром, когда на месте зарева курился слабый дымок, я пошел на пристань и узнал, что в море горел пароход. Говорили, что в трюме парохода взорвалась адская машина, но капитану удалось посадить пароход на прибрежные скалы.

Узнав эти новости, я ушел далеко по шоссе в сторону Ялты. Всего час назад здесь проезжала на дилижансе Лена. Я сел на парапет над морем и долго просидел, засунув руки в рукава шинели.

Я думал о Лене, и у меня тяжело билось сердце. Я вспоминал запах ее волос, теплоту ее свежего дыхания, встревоженные серые глаза и чуть взлетающие тонкие брови. Я не понимал, что со мной. Страшная тоска сжала мне грудь, и я заплакал.

Мне хотелось только одного – видеть ее все время, слышать только ее голос, быть около нее.

Я было совсем уже решил идти сейчас же пешком в Ялту, но в это время за поворотом шоссе закрипела мажара. Я быстро вытер глаза, отвернулся и начал смотреть на море. Но опять набегали слезы, и я ничего не увидел, кроме синего режущего блеска.

Я сильно озяб и никак не мог унять дрожь во всем теле.

Проезжавший на мажаре старик в соломенной шляпе остановил лошадей и сказал:

– Садись, друг, подвезу до Алушты.

Я влез в мажару. Старик оглянулся и спросил:

– Ты, часом, не из сиротского дома?

– Нет, я гимназист, – ответил я.

Последние дни в Алуште были необыкновенно грустные и хорошие. Такими всегда бывают последние дни в тех местах, с которыми жаль расставаться.

С моря нахлынул туман. От него отсырела трава перед нашей дачей. Сквозь туман просвечивало солнце. Лиза топила печку желтыми акациевыми дровами.

Падали листья. Но они были не золотые, как у нас в Киеве, а сероватые, с лиловыми жилками.

Волны бесшумно выходили из тумана, набегали на берег и бесшумно уходили в туман. Мертвые морские коньки валялись на прибрежной гальке.

Чатыр-Даг и Бабуган-Яйла закутались в облака. С гор спускались отары овец. Одичалые овчарки бежали позади отар, подозрительно поглядывая по сторонам.

Стало так тихо от тумана и осени, что со своего балкона я слышал голоса внизу, в городке. В чебуречной на базаре жарко горели мангалы, пахло пригорелым жиром и жареной кефалью.

Мы должны были уезжать с Лизой в понедельник утром. Лиза уже наняла извозчика до Симферополя.

Я ждал Лену в субботу, но она не приехала. Я несколько раз проходил мимо виноградника, но никого не заметил. И в воскресенье утром ее тоже не было. Я пошел к станции дилижансов. Там было пусто.

Обеспокоенный, я вернулся домой. Лиза подала мне конверт.

– Какой-то парнишка принес, – сказала она. – Должно быть, от Анны Петровны. Чтобы ты пришел попрощаться. Ты пойди. Они хорошие люди.

Я ушел в сад, разорвал конверт и вынул полоску бумаги. На ней было написано: «Приходи в шесть часов к трем платанам. Лена».

Я пришел к трем платанам не к шести, а к пяти часам. Это было пустынное место. В каменистом овраге около русла высохшего ручья росли три платана. Все поблекло вокруг. Только кое-где доцветали тюльпаны. Должно быть, на этом месте был когда-то сад. Деревянный мостик был переброшен через ручей. Под одним из платанов стояла ветхая скамья на заржавленных чугунных лапах.

Я пришел раньше назначенного времени, но уже застал Лену. Она сидела на скамье под платаном, зажав руки между коленями. Платок упал у нее с головы на плечи.

Лена обернулась, когда я подошел к самой скамье.

– Ты не поймешь, – сказала она и взяла меня за руку. – Нет, ты не обращай внимания... Я всегда говорю ерунду.

Лена встала и виновато улыбнулась. Она опустила голову и смотрела на меня исподлобья.

– Мама говорит, что я сумасшедшая. Ну что ж! Прощай!

Она притянула меня за плечи и поцеловала в губы, потом отстранила и сказала:

– А теперь иди! И не оглядывайся! Я прошу. Иди!

Слезы появились у нее на глазах, но только одна сползла по щеке, оставив узенький мокрый след.

И я ушел. Но я не выдержал и оглянулся. Лена стояла, прислонившись к стволу платана, закинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и смотрела мне вслед.

– Иди! – крикнула она, и голос ее странно изменился. – Все это глупости!

Я ушел. Небо уже померкло. Солнце закатилось за гору Кабель. С Яйлы дул ветер, шумел жесткими листьями.

Я не соображал, что все кончено, совсем все. Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной причине отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем.

На следующее утро мы с Лизой уехали в Симферополь.

В лесах за Чатыр-Дагом лил дождь. Всю дорогу до Киева дождь хлестал по вагонным окнам.

Дома моего приезда как будто не заметили. Что-то плохое случилось в нашей семье. Но я еще не знал, что именно.

Я был даже рад, что на меня не обращают внимания. Я все время думал о Лене, но не решался ей написать.

После этой осени я попал в Крым только в 1921 году, когда все, что случилось между мною и Леной, стало воспоминанием, не причиняло боли, а вызывало только раздумья. Но у кого их нет, этих раздумий? Стоит ли о них говорить?

## Крушение

После Крыма все сразу переменялось. У отца произошло столкновение с начальником Юго-Западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие окончилось сразу.

Мы переехали с Никольско-Ботанической улицы на Подвальную. Как будто по насмешке, мы поселились на этой улице в подвальном этаже.

Мы жили только тем, что мама распродала вещи. В холодноватой и темной квартире все чаще появлялись безмолвные люди в барашковых шапках. Они шныряли острыми глазками по мебели, картинам, по выставленной на столе посуде, потом тихо и убедительно беседовали с мамой и уходили. А через час-два во двор въезжали дроги и увозили то шкаф, то стол, то трюмо и ковер.

На кухне мы заставляли по утрам татарина в черной стеганой тюбетейке. Мы звали его «шурум-бурум». Он сидел на корточках и разглядывал на свет отцовские брюки, пиджаки и простыни.

«Шурум-бурум» долго торговался, уходил, опять приходил, мама сердилась, пока наконец «шурум-бурум» не бил по рукам, не вытаскивал из кармана толстый бумажник и не отсчитывал, деликатно поплеывая на пальцы, рванные деньги.

Отца почти никогда не было дома. Он уходил утром и возвращался поздно, когда мы спали. Где он проводил все дни, никто из нас не знал. Очевидно, он искал службу.

Мама сразу постарела. Седая прядь волос все чаще падала у нее со лба на лицо, – мама начала причесываться очень небрежно.

Боря ушел от нас и поселился в меблированных комнатах «Прогресс», около вокзала, якобы потому, что оттуда ближе до Политехнического института. На самом деле он ушел потому, что не ладил с отцом, считал его виновником несчастий в нашей семье и не хотел жить в угрюмой обстановке Подвальной улицы. Боря зарабатывал на себя уроками, но помогать нам не мог. Дима тоже давал уроки, или, как говорили тогда, был репетитором.

Только я был еще молод, чтобы учить других, а Галя так близорука, что не могла ничем заниматься, кроме помощи маме по дому. Лизу пришлось отпустить.

Однажды утром к нам пришел вместе с дворником сухопарый скрипучий старик, судебный пристав, и описал за какие-то отцовские долги почти всю оставшуюся обстановку. Отец скрыл от мамы эти долги. Теперь все обнаружилось. После этого отец взял первое попавшееся и очень плохое место на сахарном заводе вблизи Киева и уехал.

Мы остались одни. Несчастье вошло в семью. Она умирала. Я это понимал. Это было особенно трудно после Крыма, после короткой и грустной любви моей к Лене, после легкого моего детства.

Раз в месяц дядя Коля присылал маме деньги из Брянска. Мама, получив эти деньги, каждый раз плакала от стыда.

Однажды я увидел маму в приемной директора гимназии. Я бросился к ней, но она отвернулась, и я понял, что она не хочет, чтобы я ее заметил.

Я не мог догадаться, зачем мама приходила к директору, но ни о чем ее не спрашивал. Через несколько дней новый наш директор, Терещенко, назначенный вместо Бессмертного, лысый, низенький и круглый, с головой будто смазанной маслом (за это ему дали прозвище «Маслобой»), остановил меня в коридоре и сказал:

– Передайте вашей мамаше, что педагогический совет уважил ее просьбу и освободил вашего брата и вас от платы за ученье. Но имейте в виду, что освобождаются только хорошие ученики. Поэтому советую подтянуться.

Это было первое унижение, какое я испытал. Дома я сказал маме:

– Диму и меня освободили от платы. Зачем ты ходила к директору?

– Что же я могла сделать другое? – тихо спросила мама. – Взять вас из гимназии?

– Я сам бы заработал на себя.

Тогда впервые я увидел на мамином лице испуг, как будто ее ударили.

– Не сердись, – сказала мама и опустила голову. Она сидела и шила у стола. – Разве я могу заставлять тебя работать?

Она заплакала.

– Если бы ты знал, как мне тяжело за всех и особенно за тебя! Как он смел, ваш отец, так необдуманно поступать и быть таким легкомысленным! Как он мог!

С некоторых пор мама называла отца «он» или «ваш отец». Она плакала, склонившись над старым платьем. Обрезки материи и белые нитки валялись на полу.

Мама распродала почти все вещи. В квартире стало сыро и пусто. Промозглый свет проникал из окон. За ними были видны шаркающие сапоги, боты, глубокие калоши. Мелькание ног, забрызганных грязью зимней распутицы, мешало сосредоточиться и раздражало. Будто все эти чужие люди ходили по самой квартире, наносили холод и даже не считали нужным взглянуть на нас.

Среди зимы мама получила письмо от дяди Коли. Письмо очень ее взволновало.

Вечером, когда все мы сидели за круглым столом, где горела единственная лампа, и каждый занимался своим делом, мама сказала, что дядя Коля настаивает, чтобы я переехал на время к нему в Брянск, что он устроит меня в брянскую гимназию и что это совершенно необходимо, пока отец не получит хорошее место и не вернется в семью.

Галя с испугом посмотрела на маму. Дима молчал.

– Отец к нам не вернется, – твердо сказала мама. – У него есть другие привязанности. Ради них он сделал долги и оставил нас нищими. И я не хочу, чтобы он возвращался. Я не хочу об этом слышать ничего, ни одного слова.

Мама долго молчала. Губы у нее были крепко сжаты.

– Ну хорошо, – сказала она наконец. – Не стоит говорить об этом. Как же быть с Костиком?

– Очень просто, – сказал Дима, не глядя на маму. Для Димы все было просто. – Я в этом году кончаю гимназию и поступлю в Московский технологический институт. Мы продадим всё. Ты, мама, с Галей переедешь в Москву и будешь жить со мной. Мы продержимся. А Костик пусть пока поживет у дяди Коли.

– Но как же так! – встревожилась Галя. – Как же он там будет жить? Зачем же нам разлучаться?

Я сидел, опустив голову, и судорожно рисовал на бумаге цветы и завитушки. С некоторых пор каждый раз, когда мне было тяжело, я начинал бессмысленно рисовать на чем попало эти замысловатые завитушки.

– Перестань рисовать! – сказала мама. – Я не понимаю, чему ты улыбаешься! И что ты об этом думаешь?

– Я не улыбаюсь, – пробормотал я, но почувствовал у себя на лице напряженную улыбку. – Это так...

Я замолчал и продолжал рисовать. Я не мог остановиться.

– Костик, милый, – неожиданно сказала мама глухим голосом, – что же ты молчишь?

– Хорошо... – ответил я. – Я поеду... если надо...

– Так будет лучше всего, – сказал Дима.

– Да... будет хорошо... конечно, – согласился я, чтобы не молчать.

Все рушилось в эту минуту. Впереди я видел только жгучее одиночество и свою ненужность.

Я хотел сказать маме, что не надо отправлять меня в Брянск, что я могу давать уроки не хуже, чем Дима, и даже помогать ей, что мне очень горько и я никак не могу избавиться от

мысли, что меня выбрасывают из семьи. Но у меня так болело горло и так сводило челюсти, что я не мог говорить и молчал.

На мгновение у меня мелькнула мысль завтра же уехать к отцу. Но мысль эта тотчас ушла и снова сменилась мыслью о том, что я уже совершенно один.

С трудом я наконец собрал все силы и повторил, запинаясь, что согласен и даже рад поехать в Брянск, но что у меня болит голова и я пойду лягу.

Я ушел в свою холодную комнату, где мы жили вместе с Димой, быстро разделся, лег, натянул на голову одеяло, стиснул зубы и так пролежал почти всю ночь. Мама пришла, окликнула меня, но я притворился спящим. Она укрыла меня поверх одеяла еще моей гимназической шинелью и вышла.

Сборы в Брянск затянулись до декабря. Мне трудно было бросать гимназию, товарищей, начинать новую и, как я знал, невеселую жизнь.

Я написал отцу, что уезжаю в Брянск, но долго не получал ответа. Получил я его за два дня до отъезда.

Обыкновенно, возвращаясь домой из гимназии, я проходил через пустынную площадь за Оперным театром. Возвращался я всегда с товарищами-попутчиками Станишевским и Матусевичем.

Однажды нам встретилась на площади за театром молодая женщина – невысокая, в густой вуали. Она прошла мимо, остановилась и посмотрела нам вслед.

На следующий день мы опять встретили эту женщину на том же месте.

Она прямо пошла навстречу нам и спросила меня:

– Извините, вы не сын Георгия Максимовича?

– Да. Я его сын.

– Мне надо поговорить с вами.

– Пожалуйста, – ответил я и покраснел.

Станишевский и Матусевич ушли. Они сделали вид, что их совершенно не интересует этот случай, и даже не оглянулись.

– Георгий Максимович, – торопливо сказала женщина, роясь в маленькой сумочке, – просил меня передать вам письмо. Вы понимаете, он хотел, чтобы оно попало непосредственно к вам... Извините, что я это говорю... Я не могла ему отказать. Я вас сразу узнала. Вы похожи на отца. Вот письмо.

Она протянула конверт.

– Вы уезжаете? – спросила она.

– Да. На днях.

– Что ж... Жаль. Могло бы быть все по-другому.

– Вы увидите папу?

Она молча кивнула головой.

– Поцелуйте его за меня, – сказал я неожиданно. – Он очень хороший.

Я хотел сказать, чтобы она очень любила и жалела отца, но сказал только эти три слова: «Он очень хороший».

– Да? – сказала она и вдруг засмеялась, слегка приоткрыв рот. Я увидел ее маленькие, очень белые и влажные зубы. – Спасибо!

Она пожала мне руку и быстро ушла. На руке у нее зазвенел браслет.

До сих пор я не знаю, как звали эту женщину. Мне не удалось это узнать. Знала одна только мама, но тайну этого имени она унесла с собой в могилу.

Мне эта женщина и голосом, и смехом, и браслетом напомнила ту, что я видел у старика Черпунова. Может быть, если бы не густая вуаль, я бы и узнал ее, бабочку с острова Борнео. До сих пор меня иногда мучит мысль, что это была именно та молодая женщина, что угощала меня какао в кондитерской Кирхгейма.

Письмо отца было короткое. Он писал, чтобы я перенес свои испытания мужественно и с достоинством.

«Может быть, – писал он, – жизнь обернется к нам светлой стороной, и тогда я смогу помочь тебе. Я верю твердо, что ты добьешься в жизни того, чего не мог добиться я, и будешь настоящим. Помни один мой совет (я тебе своими советами никогда не надоедал): не осуждай сгоряча никого, в том числе и меня, пока ты не узнаешь всех обстоятельств и пока не приобретешь достаточный опыт, чтобы понять многое, чего ты сейчас, естественно, не понимаешь. Будь здоров, пиши мне и не волнуйся».

На вокзал меня провожали мама и Галя. Поезд отходил утром. Дима не мог пропускать уроки в гимназии. Уходя в гимназию, он поцеловал меня, но ничего не сказал. Мама и Галя тоже молчали.

Маме было холодно, и она не вынимала рук из муфты. Галя цеплялась за маму. У нее за последний год усилилась близорукость. Она терялась в толпе и пугалась паровозных гудков. Мама перекрестила меня, поцеловала холодными тонкими губами, взяла за рукав, отвела в сторону и сказала:

– Я знаю, тебе трудно и ты сердись. Но пойми, что хоть тебя одного из нас всех я хочу уберечь от нищеты и от этих мучений. Только ради этого я настояла, чтобы ты поехал к дяде Коле.

Я ответил, что хорошо все понимаю и ничуть не сержусь. Я говорил хорошие слова, но на сердце у меня был холод, и я хотел только, чтобы поезд поскорее отошел и окончилось мучительное прощание.

Должно быть, настоящее прощание с мамой случилось раньше, в ту ночь, когда она в последний раз укрыла меня шинелью. Поезд отошел, но я не видел из окна ни мамы, ни Гали, потому что густой пар от паровоза закрыл платформу и всех провожающих.

На сердце у меня был холод – такой же, как и в вагоне, освещенном жидким светом зимы. В окна пронзительно дуло. Снежные равнины наводили уныние. Ночью шуршала поземка. Мне хотелось уснуть, но сон не приходил. Я смотрел на язычок свечи в фонаре. Ветер отгибал его в сторону и старался задуть. Я загадал, что если свеча не погаснет, то у меня в жизни еще будет что-то хорошее. Свеча упорно боролась с ветром и не погасла до утра. От этого мне стало легче.

Когда я сошел утром в Брянске, был такой мороз, что весь воздух выл от скрипа полозьев. Стужа лежала цепким дымом на земле. В небе пылало багровым огнем обледенелое солнце.

За мною выслали лошадей. В санях лежали тулуп, башлык и рукавицы. Я закутался. Лошади с места взяли вскачь. Мы неслись среди блестящей снеговой пыли – сначала по дамбе, потом по Десне. Неистово колотились под дугой колокольчики. Вдали на горах мерцал, как игрушка из фольги, старый город в мохнатых узорах из инея и сосулек.

Сани остановились около деревянного дома на склоне горы. Я поднялся на крыльцо. Дверь распахнулась. Тетя Маруся схватила меня за рукав, втащила в столовую, где прыгали по потолку солнечные зайчики, и насильно заставила выпить полстакана красного вина. От мороза у меня свело губы. Я не мог говорить.

Все было звонко и весело в доме у дяди Коли. Гудел самовар, лаял Мордан, смеялась тетя Маруся, из печей с треском вылетали искры.

Вскоре пришел из арсенала дядя Коля. Он расцеловал меня и встряхнул за плечи:

– Главное – не скисай! Тогда мы наделаем таких дел, что небу будет жарко.

В доме у дяди Коли я начал постепенно оттаивать. Как всегда в таких случаях, память отодвинула в сторону все неприятное. Она как будто вырезала из ткани плохой кусок и соединила только хорошие – осень в Крыму и эту звонкоголосую русскую зиму.

Я старался не думать о том, что было недавно в Киеве. Я предпочитал вспоминать об Алуште, о трех платанах, о Лене. Я даже написал ей письмо в Ялту, но так и не решился отпра-

вить. Оно казалось мне очень глупым. А более умного письма я написать не мог, сколько я над ним ни бился.

## Артиллеристы

Офицеры-артиллеристы из брянского арсенала прозвали дядю Колю «полковником Вершининым». Дядя Коля напоминал Вершинина из чеховских «Трех сестер» даже внешне – черной бородкой и темными живыми глазами. Таким мы все, по крайней мере, представляли себе Вершинина.

Так же как Вершинин, дядя Коля любил говорить о хорошем будущем и верил в него, был мягок и жизнерадостен, но от Вершинина отличался тем, что был хорошим металлургом, автором многочисленных статей о свойствах разных металлов. Статьи эти он сам переводил на французский язык – им он владел в совершенстве – и печатал в парижском журнале «Ревю де металлуржи». Печатались эти статьи и в России, но гораздо реже, чем во Франции. Когда я приехал в Брянск, дядя Коля с увлечением работал над изготовлением булатной стали.

Жадность дяди Коли к жизни была удивительной. Казалось, не было таких вещей, которые его не интересовали. Он выписывал почти все литературные журналы, прекрасно играл на рояле, знал астрономию и философию, был неистощимым и остроумным собеседником.

Самым преданным другом дяди Коли был бородатый капитан Румянцев. Наружностью он напоминал Фета, но только был совершенно рыжий, подслеповатый и добродушный. Все офицерское сидело на нем криво и косо. Даже брянские гимназисты дразнили его «штафиркой».

Рассмотреть Румянцева с первого взгляда было не очень легко. Его всегда окутывали облака табачного дыма, а по застенчивости своей он выбирал в гостиной самые темные углы. Там он сидел за шахматной доской, углубившись в решение задач. Если ему удавалось решить шахматную задачу, он заливался смехом и потирал руки.

Румянцев редко участвовал в общих разговорах. Он только покашливал и поглядывал прищуренными глазками. Но как только разговор заходил о политике – Государственной думе или забастовках, – он оживлялся и высказывал самые крайние взгляды.

Румянцев был не женат. С ним жили три его сестры – все одинаково маленькие, стриженные и в пенсне. Все они курили, носили твердые черные юбки, серые кофточки и, будто сговорившись, прикалывали часики английскими булавами к груди на одном и том же месте.

Сестры постоянно прятали на квартире у Румянцева каких-то студентов, стариков в крылатках и таких же строгих женщин, какими были сами. Дядя Коля предупредил меня, чтобы я никому не говорил ни слова, кто живет у Румянцева.

Кроме Румянцева и его сестер, к дяде Коле приходил штабс-капитан Иванов – чистенький, белорукий, с тщательно заостренной светлой бородкой и тонким голосом.

Как большинство холостяков, Иванов прижился в чужой семье у дяди Коли. Он не мог провести ни одного вечера, чтобы не прийти посидеть и поболтать. Всякий раз, снимая в передней шинель и отстегивая шашку, он краснел и говорил, что зашел «на огонек» или для того, чтобы посоветоваться с дядей Колей по делу. Потом он, конечно, засиживался до полночи.

Я был благодарен Иванову за то, что он отучил меня от привычки стесняться простых вещей.

Как-то я встретил Иванова на базаре. Он покупал картошку и капусту.

– Помогите мне дотащить все это до извозчика, – попросил он меня. – Мой Петр, – (Петр был денщиком Иванова), – захворал. Приходится все делать самому.

Когда я тащил вместе с ним к извозчику тяжелую кошелку с капустой, нам встретилась молоденькая учительница немецкого языка из брянской гимназии. В ответ на мой поклон она фыркнула и отвернулась. Я покраснел.



– Напрасно смущаетесь, – сказал Иванов. – Вы же не делаете ничего дурного. Чтобы избавиться от насмешливых взглядов, у меня есть прием – смотреть людям прямо в глаза. Очень хорошо действует.

Мы сели на извозчика, заваленного овощами, и поехали по главной Московской улице. Нам встречалось много знакомых. Встретился даже ехавший в пароконном экипаже начальник арсенала генерал Сарандинаки.

Завидев нас, знакомые усмехались, но Иванов прямо смотрел им в глаза. Под этим взглядом они смущались, переставали усмехаться и в конце концов даже приветливо нам кивали. А Сарандинаки остановил экипаж и предложил Иванову прислать к нему своего денщика. Но Иванов вежливо отказался, заметив, что он прекрасно справляется с этой несложной работой. Генерал поднял брови, слегка толкнул кучера в спину шашкой в черных ножнах, и серые генеральские лошади с места пошли рысью.

– Вот видите, – сказал мне Иванов, – никогда не следует пасовать перед предрассудками.

Я знал, конечно, что Иванов прав, но все же мне было неприятно под обстрелом насмешливых глаз. Сказывалась дурная привычка.

Иногда я ловил себя на том, что боялся поступить не так, как все, стеснялся своей бедности, пытался скрыть ее от товарищей.

Мама относилась к перемене в нашей жизни как к величайшему несчастью. Из всех сил она скрывала это от знакомых. Все знали, что отец оставил семью, но мама на вопросы знакомых всегда отвечала, что отец уехал ненадолго и у нас все благополучно. Ночи напролет она штопала и переделывала нашу одежду, боясь, чтобы «люди не заметили» признаков обнищания. Мужество изменило маме. Ее робость передалась и нам.

Когда извозчик подымался на гору к дому Иванова, рассыпалась капуста. Кочаны, подпрыгивая и перегоня друг друга, покатались по мостовой. Засвистели мальчишки. Извозчик остановился. Мы слезли и начали подбирать кочаны.

Я был, должно быть, совершенно красный от стыда, потому что Иванов, взглянув на меня, предложил:

– Давайте я подберу сам. А вы уж идите лучше домой.

Если раньше мне было стыдно подбирать кочаны на глазах у прохожих, то после этих слов я покраснел до слез от стыда за себя. Я с остервенением подобрал последние кочаны и мимоходом дал оглушительную затрещину мальчишке Самохину, сыну брянского купца. Он приплясывал на тротуаре и дразнился:

Ехал, ехал гимназист,  
Потерял капустный лист!

Юный Самохин, ревя и размазывая слезы, скрылся в своем дворе.

Я был уверен, судя по хитрым глазам Иванова, что он рассыпал капусту нарочно.

С этого времени я начал даже бравировать. Каждый день я выходил на улицу с деревянной лопатой и разгребал снег, колот дрова, топил печи и не только не уклонялся от грубой работы, но всячески на нее напрашивался. А мальчишка Самохин еще долго, завидев меня, прятался за калитку и кричал оттуда:

– Синяя говядина!

«Синей говядиной» звали гимназистов за их синие фуражки. Но эти выпады Самохина уже не производили на меня впечатления.

Жизненные уроки Иванова подкрепил подполковник Кузьмин-Караваев, узкогрудый человек с серыми твердыми глазами.

Он основал в Брянске первое потребительское общество и открыл на Волховской улице потребительскую лавку. Он сам доставал товары и торговал ими в тесном амбаре.

Эта затея Караваева вызвала смятение среди брянских купцов. Старшина купеческого сословия посылал на Караваева доносы в Петербург, в Главное артиллерийское управление. Но за Караваева стеной стояли интеллигенция и рабочие арсенала. Доносы не помогли. Потребительская лавка с каждым днем богатела и расцветала.

Все по очереди помогали Караваеву торговать в лавке, меня же он взял к себе постоянным помощником.

Почти все свободное время я проводил в лавке, откупоривал пахучие ящики с бакалейным товаром, развешивал соль, муку и сахар. Караваев, в грубом фартуке, какие носят кузнецы, надетом поверх щегольской тужурки, работал быстро, шутил с покупателями и рассказывал мне много интересных вещей о происхождении товаров.

В лавке у Караваева были собраны товары со всей страны – табаки из Феодосии, грузинские вина, астраханская икра, вологодские кружева, стеклянная мальцевская посуда, сарептская горчица и сарпинка из Иваново-Вознесенска. В лавке пахло селедочным рассолом, мылом, но все заглушал чудесный запах свежих рогож, сваленных в задней комнате.

Вечером Караваев закрывал амбар на железный засов, и мы пили с ним крепкий чай. Чайник подпрыгивал на чугунной печурке. Караваев колот японским плоским штыком сахар. От сахара летели синие искры. Я доставал из деревянного ларя медовые пряники – жамки.

К чаепитию в лавку всегда приходил кто-нибудь из знакомых посидеть и поболтать – то Иванов, то сестры Румянцевы, то тетя Маруся.

Иванов садился на пустой ящик, не снимая шинели и даже перчаток, и начинал доказывать Караваеву, что Россия еще не доросла до потребительских лавок. Караваев удушливо кашлял и отмахивался от Иванова.

Тетя Маруся всегда приносила к чаю домашние коржики или пирожки.

Сестры Румянцевы пили чай из блюдец, поблескивая пенсне. Они называли Караваева Дон-Кихотом и говорили, что его возня с лавкой – проповедь малых дел и что России нужны не потребительские лавки, а великие потрясения.

Тогда Иванов начинал позванивать шпорой и напевать «Мальбрук в поход собрался». Сестры Румянцевы обзывали Иванова ретроградом и уходили.

Ранней весной потребительская лавка сгорела. Поджог был сделан грубо и откровенно – дверь в лавку взломали, а товары облили керосином.

Весь город знал, что поджог – дело брянских купцов, но следствие тянулось долго и окончилось ничем. Караваев осунулся, начал кашлять еще сильнее и, отмахиваясь от собственного кашля, говорил:

– *Finita la comedia!*<sup>1</sup> Нашу страну может переkreить только потрясение. Вздернуть на дыбы всю Россию, тогда получится толк.

Убытки от пожара были большие. Их с трудом покрыли пайщики потребительского общества – рабочие брянского арсенала и товарищи Караваева, артиллеристы. Удивительнее всего было то, что львиную долю убытков взял на себя штабс-капитан Иванов. Он был бережлив и за годы службы в арсенале скопил несколько тысяч рублей. Почти все эти деньги он отдал Караваеву.

Я провел зиму и лето в дружной семье арсенальцев. Но горечь пережитого в Киеве не проходила. Я постоянно вспоминал о маме, об отце, и мне было временами стыдно, что я живу в теплом и гостеприимном доме, где всегда было ровное и веселое настроение. Я представлял себе холодный киевский подвал, пустой стол с хлебными крошками, озабоченное лицо мамы, усталого от репетиторства Диму.

---

<sup>1</sup> Комедия окончена! (лат.)

Мама писала мне редко, а Галя и Дима не писали совсем. Иногда мне казалось, что мама не пишет потому, что у нее нет денег даже на марки. Надо было что-то делать, чтобы ей помочь, но я не знал что.

Я не мог привыкнуть к брянской гимназии. Все гимназисты в моем классе были гораздо старше меня. Я все чаще с сожалением вспоминал киевскую гимназию и задумывался над тем, чтобы вернуться в Киев. В конце концов я написал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу. Я откровенно рассказал ему все, что со мной случилось, и спрашивал, могу ли я вернуться. Вскоре я получил ответ.

«С нового учебного года, то есть с осени, – писал Субоч, – вы уже зачислены обратно в Первую гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы. Что касается материальной стороны дела, то я смогу предложить вам несколько приличных уроков. Это даст возможность существовать хотя и скромно, но самостоятельно и ни для кого не являться обузой. А переживаниями передрягами не огорчайтесь – *tempora mutantur et nos mutamur in illis*, – надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону».

Я прочел это как будто деловое письмо, и спазма сжала мне горло. Я понял ласковость письма и еще понял, что с этой минуты я уже сам, ни на кого не надеясь, начинаю строить свою жизнь.

От этого сознания стало страшно, хотя в то время мне было уже почти шестнадцать лет.

## Великий трагик Кин

На заборах в Брянске были расклеены желтые афиши о гастролях актера Орленева.

Афиши были напечатаны на шершавой и тонкой бумаге. Она насквозь промокала от клея. Козы срывали и сжевывали эти афиши. Из рта у жующих коз торчали обрывки желтой бумаги с черными словами: «Гений... беспутство». Только на немногих уцелевших афишах можно было прочесть, что Орленев выступит в Брянске в роли английского трагика Кина в пьесе «Кин, или Гений и беспутство».

Дядя Коля заранее взял билеты на спектакли Орленева. Несколько дней в доме у дяди Коли говорили только об Орленеве.

Спектакли были назначены в летнем театре в городском саду. Театр был деревянный, старый, покрытый облупившейся розовой краской. На стенах его годами клеили афиши. Выцветшая от дождей бумага висела толстыми клочьями.

Театр был всегда заколочен. В сумерки из-под крыши театра вылетали летучие мыши и шныряли над глухими аллеями. Девушки в белых платьях визжали от страха – существовало поверье, что летучие мыши вцепляются во все белое и потом их нельзя оторвать.

Заброшенный театр казался таинственным. Я был уверен, что в пустом его зале и актерских уборных до сих пор валяются засохшие цветы, коробочки с гримом, ленты, пожелтевшие ноты. Валяются еще с тех времен, когда в этом театре, по городскому преданию, играла заезжая оперетта.

Нарумяненные юные женщины с подведенными синькой глазами пробегали из уборных по скрипучим доскам на сцену, волоча бархатные шлейфы. Обольстительно звенели гитары под пальцами нагловатых первых любовников, и слова жестоких романсов щемили простодушные сердца горожан:

Мне снился день, который не вернется,  
И человек, который не придет...

Этот театр видел все: молодых цыганок с надрывающим сердце голосом, разорившихся помещиков, пахнувших лошадиным потом, – они скакали сто верст, чтобы попасть на концерт какой-нибудь Нины Загорной, – корнетов с черными баками, купцов в коричневых котелках, невест, трепещущих от испуга, в пышных, как пена, розовых платьях.

Мои мысли об этом театре были связаны с июльскими ночами, когда над шапками лип мигали зарницы, кровь шумела в голове, ничего не было страшно и ничего не было жаль ради забубенной женской песни и мимолетной любви. Когда всё – трын-трава, и все счастье – в одном только взгляде из-под милых ресниц. Взгляде под звон бубенцов, под гиканье захмелевшего ямщика. Один только взгляд, как взмах черной зарницы в этих душных ночах, что настоялись на запахе лип и были полны далеким гулом Брянских лесов – бездорожных, непроходимых, врачующих сердце от хандры и измены.

Стены театра хранили в себе отзвуки умолкнувших голосов, память о жизни напропалую, похищениях, дуэлях, заглушенных рыданиях и горячих сердцах.

Казалось, что театр давно умер, затянулся паутиной и никто никогда в нем больше не будет играть.

Но его открыли, прибрали, проветрили, постелили ковровые дорожки, смахнули пыль с бархатной обивки лож, и она из серой снова сделалась вишнево-красной.

Под потолком загорелась люстра. Старенький ее хрусталь сначала поблескивал неуверенно и тускло, но потом, вздрогнув от первых пассажей оркестра, смело засверкал десятками разноцветных позванивающих звезд.

У дверей появились старые капельдинеры в нитяных белых перчатках. Пахнуло духами, свежестью сада, запахом конфет. Послышался приглушенный гул голосов, бречанье шпор, скрип кресел, смех, шуршание узких программ – на них была напечатана лира в венке из дубовых листьев.

– Орленев, Орленев, Орленев! – слышалось во всех концах театрального зала.

Дядя Коля сидел в ложе в изящном своем форменном сюртуке с черным бархатным воротом. Тетю Марусю окружал пепельный блеск. Он исходил от ее серого, похожего на дым, нового платья, от ее волос и возбужденных серых глаз – она давно уже не была в театре.

Штабс-капитан Иванов спокойно прошел по ковровым дорожкам. На его остроносых ботинках журчали маленькие шпоры.

Даже капитан Румянцев расчесал рыжую бороду-лопату и пришел в сюртуке. Он поминутно вынимал из заднего кармана носовой платок и вытирал красное лицо.

Сестры Румянцевы сидели тесно рядом, и щеки у них нестерпимо пылали.

На спектакль пришли и мои старые знакомые по Рёвнам – Володя Румянцев и Павля Теннов.

Володя Румянцев забрался на галерку, хотя у него было место в ложе, – он был в ссоре с сестрами.

Павля Теннов сидел со снисходительным видом, далеко вытянув перед собой скрещенные ноги. Ему ли, старому петербургскому студенту, было волноваться перед этим спектаклем!

В ложе тетя Маруся притянула меня за руку, сняла пушинку с ворота моей куртки, внимательно посмотрела на мои волосы и пригладила их.

– Ну вот, теперь хорошо.

Я взглянул на себя в тусклое зеркало в аванложе. Я был очень бледен и так еще по-детски худ, что, казалось, вот-вот сломаюсь.

Занавес поднялся, и начался спектакль.

Я видел в Киеве хороших актеров, но сейчас невысокий человек с печальным и резким лицом совершал на сцене великое чудо. Каждый звук его голоса раскрывал больную и прекрасную душу великого Кина. «Оленья ранили стрелой!» – крикнул он звенящим голосом, и в этом возгласе прорвалась вся безысходная тоска по милосердию.

Я весь дрожал, когда в зрительном зале начался разыгранный актерами театральный скандал. Я не мог сдержать слез, когда опустился занавес, на авансцену вышел заплаканный старый режиссер-англичанин и сказал дрожащим голосом, что спектакль не может продолжаться, потому что «солнце Англии – великий трагик Кин сошел с ума».

Тетя Маруся обернулась ко мне, похлопала меня по руке и что-то хотела сказать, должно быть шутливое, но вместо этого изумленно вскрикнула и встала. Дядя Коля тоже обернулся и встал.

Весь зал сотрясался от аплодисментов.

Я тоже обернулся. За моей спиной стоял отец, все такой же усталый, с ласковой и печальной улыбкой, но совершенно седой. У меня все завертелось в глазах, потом сразу оборвалось и стало тихо и темно. Отец подхватил меня.

Я плохо помню, вернее – совсем не помню, что было дальше. Я очнулся на маленьком диване в аванложе. Ворот моей куртки был расстегнут. По подбородку стекала вода, а тетя Маруся смачивала мне виски одеколоном. Отец поднял меня за плечи, посадил и поцеловал.

– Посиди немного, не двигайся, – сказал он. – Сейчас все пройдет. Неужели вы не получили моей телеграммы?

Пока усталый Орленев выходил кланяться и подбирал цветы, летевшие на сцену, отец наскоро рассказал, что он получил место на вагоностроительном заводе в Бежице. Поселок Бежица был всего в восьми километрах от Брянска.

Отец только что приехал, никого не застал в доме у дяди Коли и пришел за нами в театр.

– А как же мама? – спросил я.

– Мама? – переспросил отец. – Кстати, я привез тебе письмо от нее. Мама не хочет жить в Бежице. Она поедет с Димой в Москву и думает поселиться там навсегда. Конечно, возьмет с собой и Галю.

– А обо мне она что-нибудь говорила?

Отец подумал.

– Кажется, нет. Я ее очень мало видел. Она, должно быть, все тебе написала. Ты прочти.

Он протянул мне письмо. Все еще гремели аплодисменты. Я быстро прочел письмо. Оно было короткое и сухое.

Мама писала, что я должен еще побыть у дяди Коли, пока жизнь не наладится. Сейчас мама ничего мне не может сказать утешительного. В Москву она собирается переезжать через месяц, в июле. Лето я должен прожить в Брянске, но если хочу, то могу прожить и в Бежице с отцом. Но все же было бы лучше и спокойнее, если бы я провел его в Брянске. «На пути из Киева в Москву, – писала мама, – мы, к сожалению, не сможем остановиться в Брянске, но я пришлю телеграмму, ты приедешь на вокзал, мы увидимся и обо всем поговорим».

Когда я кончил читать письмо, тетя Маруся, смеясь, сказала отцу:

– Мы его теперь никому не отдадим. Даже вам, Георгий Максимович.

– Ни за что не отдадим, – сказал дядя Коля. – Но, в общем, мы с тобой об этом поговорим, Георгий.

– Поговорим, – согласился отец.

Мы пошли через городской сад к экипажу. Калильные фонари шипели среди деревьев. Военный оркестр на эстраде играл бравурный марш, будто радовался тому, что спектакль окончился и снова можно греметь во всю силу фанфар и тромбонов.

Мы сели в экипаж. Лошади, перебирая ногами, спускались с крутой горы.

Я был обескуражен маминым письмом. После него все оставалось таким же неясным, как и было. Очевидно, мама так и не помирилась с отцом. Я не мог понять, почему мама пишет мне так холодно. Неужели она начала забывать обо мне? Неужели я уже никому не нужен?

Отец оживленно говорил с дядей Колей. Почему он не расспросил меня ни о чем? Я мог бы ему рассказать много печального. Может быть, я заплакал бы и мне стало бы легче.

Все любили меня в доме дяди Коли – и он, и тетя Маруся, и даже все товарищи дяди Коли, но все же в груди у меня постоянно стоял тяжелый комок. Я должен был скрывать свою грусть, чтобы не обидеть ею дядю Колю и тетю Марусю.

Я вспомнил слова Субоча, что скоро я уже смогу ни для кого не быть обузой. Я весь сжался. Все стало понятно. Значит, я обуза для всех. У отца своя жизнь. Кто знает, может быть, в Бежице он будет жить не один.

А мама? Почему же мама так легко отказалась от меня? Должно быть, из-за Гали. Галя слеpla, врачи ничем не могли ей помочь. Мама была в отчаянии от этого. Страшная судьба Гали поглощала все ее мысли. Должно быть, у мамы ничего уже не оставалось в душе, кроме неистовой жалости к Гале.

Пыльная луна висела над городом. Железные крыши, залитые лунным светом, казались мокрыми. Тетя Маруся наклонилась ко мне:

– Дай мне, если можно, письмо.

Я протянул ей письмо.

Она сложила его узкой полоской, засунула в прорез лайковой перчатки и застегнула прорез на перламутровую пуговку.

У меня разболелась голова. Она болела так сильно, что на глазах даже выступили слезы.

– Что с тобой? – спросила тетя Маруся.

– Очень болит голова.

– Бедный, все на тебя сразу свалилось!

Дома меня уложили в постель. Я лежал и прислушивался к разговору в столовой и к голосу отца. Я все ждал, когда же он придет ко мне проститься на ночь.

Свежий воздух лился в окно и туманил голову. Засыпая, я слышал, как Орленев крикнул в соседней комнате измученным голосом: «Оленя ранили стрелой!» Тотчас далеко, на самом краю ночи, заиграла нежная музыка. Она уходила вдаль, затихала, как будто оглядывалась и кивала мне головой.

Потом тетя Маруся сказала: «Он слабый у вас. Слишком большое для него волнение». – «У кого это – у вас?» – спросил я. «Спи, – сказал голос тети Маруси. – Я от тебя не уйду. Вы уж сами налейте себе чаю». Чайные ложечки начали вертеться в стаканах все скорей и скорей. От этого у меня закружилась голова, и я начал падать. Я падал долго и, пока падал, все забыл.

Несколько дней я пролежал в жару, с головной болью. За это время отец уехал в Бежицу.

Как только я поправился, мы с дядей Колей поехали к отцу.

Бежица оказалась сырым и скучным поселком. Земля здесь была перемешана с ноздреватым шлаком из заводских печей. В палисадниках росли кривые березы. Дымил завод.

В бревенчатом доме, в квартире отца, тоже пахло угольным дымом. Обстановка была скучная. Кроме отца, в квартире никто не жил.

Мы застали отца за чтением энциклопедического словаря.

Отец очень обрадовался нам.

– Я понимаю, – сказал он дяде Коле, – что Костику здесь совсем нельзя жить: и скучно, и неустроенно, и одиноко. Да я и сам здесь долго не протяну.

– А что же ты думаешь делать? – строго спросил дядя Коля.

– Уеду куда-нибудь. Жизнь, в общем, не задалась. Теперь мне все равно. Сам виноват.

Я смотрел на отца. Сейчас он был совсем не таким, как был в пятом году или давным-давно – в Городище, Геленджике или в комнате художника Врубеля. Как будто там был действительно он, а здесь его двойник – неудачник.

## Один на большой дороге

И вот они пришли наконец, эти дни с первыми признаками увядания.

За домом дяди Коли тянулся по крутому склону оврага старый яблоневоый сад. Дуплистые стволы яблонь и кривой забор были покрыты лишаями.

В саду, кроме меня, почти никто не бывал.

Я приходил в сад с тетрадкой, ложился на землю и писал стихи. Насколько я теперь понимаю, это были плохие стихи. В них все тонуло в расплывчатой грусти.

По стихотворным строчкам суетливо бегали муравьи, перетаскивали сухую осу. Гнилые веточки падали на тетрадку с деревьев.

Небо, прозрачное, несмотря на свою густоту, сверкало над садом. По небу тянул ветер, сваливал за Десну облака. Я как-то начал их считать, насчитал двести и бросил. У меня заребило в глазах.

Осень предупреждала о своем приходе то сухим листком, невзначай забытым на скамейке, то маленькой зеленой гусеницей, спускавшейся по паутине прямо мне на голову.

Было жалко уходящего лета. Дядя Коля провел его в Брянске. Летом я часто приходил к дяде Коле в арсенал, в его лабораторию или в кузнечную мастерскую.

Я любил смотреть, как работал паровой молот. Около этого молота я услышал от штабс-капитана Иванова рассказ о знаменитом кузнеце Обуховского завода. Он мог так осторожно расколоть стопудовым паровым молотом грецкий орех на донышке перевернутого стакана, что стакан оставался целым.

Мне нравился арсенал, его низкие здания, построенные еще при Екатерине, дворы, заросшие муравой и заваленные чугунами отливками, сирень у стен мастерских, цилиндры старых паровых машин, блестящих маслянистой медью, запах спирта в лабораториях, бороздчатые кузнецы и литейщики и фонтан голубоватой артезианской воды, бившей из-под земли около стены арсенала.

Надо было прощаться со всем этим, с Брянском, с уютным домом дяди Коли, и, может быть, прощаться надолго.

Осенью я уезжал обратно в Киев. Так было решено на коротком семейном совете на Брянском вокзале, когда мама с Галей и Димой проезжала в Москву. Я приехал на вокзал с дядей Колей и тетей Марусей, чтобы повидать маму.

Мама постарела и разговаривала с дядей Колей виноватым голосом, будто хотела перед ним оправдаться.

Галя почти совсем ослепла. Кроме того, она начала плохо слышать. Она носила толстые двойные очки. Когда к ней обращались, она долго озиралась, стараясь догадаться, кто с ней разговаривает, и отвечала невпопад. Дима был угрюм и спокоен.

Мама обняла меня, потом осмотрела с ног до головы и заметила, что я выгляжу гораздо лучше, чем в Киеве. В голосе ее послышалась обида.

Я сказал, что хочу вернуться в Киев и что меня приняли обратно в Первую гимназию. Я буду жить с Борей и зарабатывать уроками.

Мама отвернулась и ответила, что она очень хотела бы взять меня в Москву, но сейчас это невозможно. Она сама не знает, как сложится ее жизнь в Москве.

Галя все говорила:

– Костик, ты где? Ах, ты здесь! А я тебя совсем не вижу.

Тетя Маруся быстро начала говорить, что отпускать меня в Киев безумие, что она, может быть, ничего не понимает и не имеет права вмешиваться в наши семейные дела, но...

Она замолчала, заметив предостерегающий взгляд дяди Коли. Мама ничего не ответила. Она смотрела за окно вагона на платформу. Глаза ее потемнели от гнева.



– Наконец-то! – сказала мама. – Лучше поздно, чем никогда.

По платформе шел отец. Он только что приехал рабочим поездом из Бежицы. На отце был черный, лоснившийся от старости пиджак.

Отец вошел в вагон. Тотчас вокзальный колокол ударил два раза.

Мы начали прощаться. Отец поцеловал у мамы руку и сказал:

– Маруся, Костика я беру на себя. Я буду каждый месяц посылать ему на жизнь и на все необходимое.

– Дай-то бог! Хоть этот пустяк ты не забывай делать. Прошу тебя.

Дима холодно попрощался с отцом, а Галя, совсем как слепая, протянула к отцу руку и старалась дотронуться до его лица. Отец так побледнел, что даже глаза у него сделались белыми.

Пробил третий звонок.

Мы вышли на платформу. Мама сказала из окна, что обязательно приедет ко мне зимой в Киев.

Поезд тронулся.

Отец стоял, сняв шляпу, и смотрел на пробегавшие колеса вагона. Он не захотел поехать в город к дяде Коле, сославшись на то, что ему нужно первым же поездом возвращаться в Бежицу, где его ждет срочная работа.

Мы возвращались в экипаже домой. В дороге дядя Коля и тетя Маруся молчали. Тетя Маруся покусывала маленький платок. Потом она посмотрела на дядю Колю и сказала:

– Нет, я все-таки не понимаю. Как же так можно!

Дядя Коля нахмурился и показал ей глазами на меня.

Тетя Маруся замолчала.

Мне было стыдно за всю нашу семейную неурядицу, портившую жизнь не одним только нам. Я мечтал о том, чтобы поскорее уехать в Киев и забыть эти беды и неприятности. Лучше одиночество, чем жизнь в клубке взаимных обид, утомительных и непонятных.

Я ждал августа, когда уеду в Киев. Он пришел наконец, с палыми листьями и пасмурными дождями.

В день моего отъезда сеялся дождь, задувал ветер. Вагоны поезда Москва – Киев были исхлестаны дождем. Отец не приехал проводить меня, хотя и обещал.

На вокзале дядя Коля пытался односложно шутить. Тетя Маруся засунула мне в карман шинели конверт и сказала: «Прочтешь в дороге».

Когда поезд тронулся, она отвернулась. Дядя Коля взял ее за локоть и повернул лицом к поезду. Тетя Маруся улыбнулась мне и опять отвернулась.

Дождевые капли бежали по оконному стеклу. Из-за них ничего не было видно. Я опустил окно и высунулся.

Дядя Коля и тетя Маруся стояли на платформе и смотрели вслед поезду. Пар падал на землю. Далеко позади поезда я увидел полосу чистого неба. Там уже светило солнце.

Мне это показалось хорошим предзнаменованием. Я достал из кармана конверт. В нем были деньги и записка:

«Береги себя. Ты выходишь один на большую дорогу, а потому не забывай, что у тебя есть провинциальные дядя и тетя. Они тебя крепко любят и всегда готовы помочь».

## Дикий переулок

Боря жил в меблированных комнатах «Прогресс» на грязной Жилианской улице, около вокзала.

Он встретил меня приветливо и покровительственно.

– Молодец, – сказал он, – что решил быть самостоятельным! Поживи пока у меня. Потом мы найдем тебе место получше. Здесь тебе жить не стоит.

– Почему?

– Увидишь.

Увидел я это довольно скоро. Как только Боря ушел в Политехнический институт, в комнате немедленно появился одутловатый человек с лицом, похожим на кочан кислой капусты. На одутловатом висела пыльная студенческая тужурка и болтались зеленые брюки с пузырями на коленях. Выпуклые и пустые его глаза медленно вращались, разглядывая комнату, полку с продуктами и меня.

– Граф Потоцкий! – представился одутловатый. – Ближайший друг вашего брата. Бывший студент Политехнического института. Выбыл из него по неизлечимой болезни.

– Чем же вы больны? – спросил я участливо.

– Болезнь моя не поддается описанию, – ответил граф Потоцкий и зачерпнул из коробки на столе горсть Бориных папирос. – Страдаю невыразимо. Благодаря болезни три года подряд проваливался на экзамене у профессора Патона. Вы знаете Патона?

– Нет.

– Зверь! – заметил граф Потоцкий, взял со стола колбасу, повертел ее и сунул в карман. – Гонитель всех, кто жаждет успеха. Лекарство от моей болезни – обыкновенный креозот. Но родители задержали высылку денег, и, натурально, иссякла наличность, чтобы сбежать в аптеку за вышеупомянутым креозотом. Нельзя ли у вас сообразить до завтра?

– Что сообразить? – спросил я, не понимая.

– Ну ладно! – Граф Потоцкий добродушно улыбнулся. – Надоело паясничать! Хотел попросить у Бори три рубля, да вот опоздал. Может быть, у вас найдется зелененькая?

– Да, конечно! – Я поспешно достал из кармана деньги. – Вам три рубля?

– Ах, юноша! – воскликнул с огорчением Потоцкий. – Если просит взаймы нахал, то он преувеличивает, а если порядочный, то преуменьшает. Если бы я был, избави бог, нахалом, я попросил бы двадцать рублей. Я же прошу всего три! Вы спросите, где же истина? Истина, как всегда, посередине. Двадцать минус три равно семнадцати. Мы делим семнадцать на два и получаем восемь с полтиной. Некоторое закругление дает цифру в девять рублей. Удобно и просто.

Я протянул ему вместо девяти десять рублей. Он взял их очень странно. Я даже не заметил, как он их взял. Деньги как бы растаяли в воздухе.

Пока мы разговаривали с графом Потоцким, дверь в номер все время поскрипывала. Но как только деньги растаяли в воздухе, дверь решительно распахнулась и в комнату влетела коротенькая женщина в пеньюаре. При каждом шаге у нее на ногах шелкали туфли. Они были ей велики.

– Зачем?! – закричала она страстным голосом. – Зачем давать этому изуверу деньги? Отдай! – прошипела она сквозь зубы и схватила графа Потоцкого за тужурку.

Рукав тужурки затрещал.

Граф вырвался и метнулся в коридор. Женщина бросилась за ним. Туфли ее стреляли, как пистолеты.

– Отдай! – кричала она. – Хоть три рубля! Хоть два!

Но граф с непостижимой быстротой скатился по лестнице на улицу и исчез. Женщина в пеньюаре прислонилась к стене и зарыдала ненатуральным, противным голосом. Из всех комнат начали выглядывать жильцы. Это помогло мне увидеть их всех сразу. Первым выглянул прыщавый юноша в лиловой рубашке. Он пристегивал к ней розовый целлулоидовый воротничок.

– Мадам Гуменюк, – сказал он повелительно, – примите меры!

В коридоре показалась владелица меблированных комнат «Прогресс» мадам Гуменюк – полная дама с ласковыми томными глазами. Она подошла к женщине в пеньюаре и сказала неожиданно очень ясным и злым голосом:

– Марш к себе! Без скандала! Вы дождетесь полиции! Даю честное слово женщины!

Женщина в пеньюаре спокойно пошла к себе в комнату. Коридор еще долго шумел, обсуждая происшествие с графом Потоцким.

Когда пришел Боря, я рассказал ему обо всем. Боря заметил, что я дешево отделался, и сказал, чтобы впредь я не поддавался ни на какие уловки. Граф Потоцкий вовсе не граф и не бывший студент, а судейский чиновник, выгнанный со службы за пьянство.

– Меня они боятся, – заметил Боря. – Но с твоим характером лучше их избегать. Здесь собрались одни подонки.

– Зачем же ты здесь живешь?

– Я привык. Мне они не мешают.

Через месяц Боря нашел мне комнату «на всем готовом» у маминой знакомой старушки, пани Козловской, в Диком переулке.

Я получил деньги от отца и рассчитал, что если даже он больше ничего мне не пришлет, то три месяца я смогу прожить, не занимаясь уроками.

В квартире у пани Козловской, кроме нее и ее сына, пехотного поручика Ромуальда, никто не жил. Это была тесная квартирка с липкими от плохой краски полами. Окна выходили в вырубленный сад. В нем осталось всего два-три дерева. Зимой в этом саду устраивали каток. В кучи снега по краям катка втыкали елочки. Они быстро желтели. Каток был дешевый, для мальчишек с Глубочицы и Львовской улицы. На нем даже не было оркестра, а играл граммофон с огромной лиловой трубой.

Дикий переулочек был действительно диким. Он никуда не вел. Он терялся в пустырях, заваленных снегом и кучами золы. Зола курилась сизым дымком. С пустырей всегда несло угаром.

Я украсил свою каморку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго. По вечерам я зажигал кухонную лампочку. Она освещала только стол и портрет Гюго. Бородатый писатель сидел, грустно подперев голову рукой в круглой крахмальной манжете, и смотрел на меня. У него было такое выражение, будто он говорил: «Ну-ну, молодой человек, что же вы будете делать дальше?»

Я увлекался в то время «Отверженными» Гюго. Пожалуй, больше, чем самое содержание романа, я любил бурные вылазки старика Гюго в историю.

В ту зиму я вообще много читал. Я никак не мог привыкнуть к одиночеству. Книги помогали мне избавляться от него. Я часто вспоминал нашу жизнь на Никольско-Ботанической, Лену, веселых артиллеристов, фейерверки в старом парке в Рёвнах, Брянск. Всюду я был окружен разнообразными и доброжелательными людьми.

Сейчас я ощущал вокруг себя безлюдье. В лампе что-то гудело. Этот звук усиливал одиночество.

Но прошел месяц, второй, и произошел перелом. Я начал замечать, что чем непригляднее выглядела действительность, тем сильнее я чувствовал все хорошее, что было в ней скрыто.

Я догадывался, что в жизни хорошее и плохое лежат рядом. Часто хорошее просвечивает через толщу лжи, нищеты и страданий. Так иногда в конце ненастного дня серые тучи вдруг насквозь просветятся огнем заходящего солнца.

Я старался находить черты хорошего всюду. И часто находил их, конечно. Они могли блеснуть неожиданно, как хрустальная туфелька Золушки из-под ее серого рваного платья, как мог блеснуть где-нибудь на улице внимательный и ласковый взгляд ее глаз. «Это я, – говорил этот взгляд. – Разве ты не узнал меня? Сейчас я обернулась нищенкой, но стоит мне сбросить лохмотья, и я превращусь в принцессу. Жизнь полна неожиданного. Не бойся. Верь в это».

Смутные эти мысли одолевали меня в ту зиму.

Я был в начале жизненного пути, но мне казалось, что я уже знаю этот путь целиком. Я вычитал у Фета стихи. Они, по-моему, подходили к тому, что ожидало меня:

Из царства выюг, из царства льдов и снега  
Как свеж и чист твой вылетает май!

Я читал вслух эти стихи. Пани Козловская слушала из-за стены. Поручик Ромуальд приходил поздно, а иногда и совсем не ночевал дома. Пани Козловской было скучно, и она радовалась звукам любого человеческого голоса.

## Осенние бои

В гимназии учителя и товарищи встретили меня после Брянска так же приветливо, как и Боря. Даже протоиерей Трегубов произнес несколько подходящих к случаю назидательных слов о блудном сыне.

Субоч придирчиво расспросил меня, как я устроился, и пообещал через месяц достать мне уроки. Инспектор Бодянский издал страшный звук носом, похожий на храп, – этим звуком он привык пугать кишат, – и сказал:

– Виновны, но заслуживаете снисхождения. Ступайте в класс и больше не грешите!

Но согрешить мне все же пришлось.

В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения – первое и второе. Первое отделение считалось аристократическим, второе – демократическим.

В первом отделении учились преимущественно оболтусы – сыновья генералов, помещиков, крупных чиновников и финансистов. В нашем же, втором отделении учились дети интеллигентов, разночинцев, евреи и поляки.

Разделение это производилось, очевидно, сознательно, в силу предписания свыше.

Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Она выражалась во взаимном презрении. Но раз в год, осенью, происходила традиционная драка между первыми и вторыми отделениями во всех классах. В ней не участвовали только кишата и гимназисты последнего класса. Они уже считались взрослыми, почти студентами, и драться им было не к лицу. Случались и пустые осени, когда драк не бывало.

День драки менялся из года в год. Делалось это, чтобы обмануть бдительное наше начальство. Но начальство по некоторым признакам догадывалось о приближении знаменательного дня, начинало нервничать и шло на хитрости, чтобы предотвратить сражение: то неожиданно распускало после первого же урока подозрительный класс, который мог быть зачинщиком боя, то уводило два-три класса на экскурсию в художественный музей, то внезапно закрывало выходы в сад, где обычно происходила драка.

Но никакие ухищрения не помогали. Бой начинался в назначенный день и всегда на большой перемене.

Некоторых гимназистов класс «освобождал» от драки. Освобождали больных, слабых или тех мальчиков, которые чувствовали отвращение не только к драке, но даже к обыкновенной возне друг с другом. Их освобождали охотно: никакого толку от них все равно не было. Меня освобождали по последней причине.

Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. В этом случае, по железным законам гимназической войны, их никто не трогал.

Освобожденные предпочитали все же не выходить в сад и наблюдали бой из окон классов – оттуда было лучше видно.

Бой начинался с внезапной и зловещей тишины в здании гимназии. Коридоры мгновенно пустели. Все гимназисты устремлялись в сад.

Потом раздавался глухой и грозный рев. От него бледнел и крестился инспектор Бодянский. В облаках пыли, поднятой наступающими друг на друга рядами, проносились, свистя, как картечь, сотни каштанов.

Все сторожа – Казимир, Максим Холодная Вода и еще несколько других – бежали рысью в сад. За ними мчались, обгоняя друг друга, испуганные надзиратели. Хлопали двери. В коридорах раздавались встревоженные голоса учителей.

Инспектор Бодянский, натягивая на ходу форменное пальто и нахлобучивая фуражку с кокардой, сбегал по лестнице, торопясь на место боя.

Однажды вслед за Бодянским в сад поспешно спустился и ксендз-каноник Олендский. Мы полезли на подоконники. Нам хотелось увидеть, как Олендский подымет над головой крест и будет призывать враждующих к примирению.

Но вместо этого Олендский, засучив рукава сутаны, начал разнимать дерущихся и расшвыривать их в стороны. Он делал это с необыкновенной ловкостью. Гимназисты отлетали от него, как мячи. Должно быть, Олендский вспомнил свое детство.

Ксендз, отдуваясь, вернулся из сада в учительскую. Судя по его разгоряченному и сияющему лицу, участие в этом бою, даже в качестве примирителя, доставило ему большое удовольствие.

Как только вспыхивал бой, все запасные выходы в сад немедленно открывались. Это было военной хитростью. Выходы открывались для того, чтобы сторожа и надзиратели, разъединяя дерущихся, могли оттеснять их по частям в эти запасные выходы.

– В Первой гимназии началось! – орали на улице мальчишки.

Из окон трудно было разобрать, что происходит и что началось. Летела пыль, трещали ветки деревьев. Были слышны крики и глухой топот, будто в саду наступали друг на друга, отдавливая ноги, стада слонов.

Потом, все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев ликующий победный крик – это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство.

На моей памяти не было случая, чтобы первое отделение одержало победу.

Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом – будущий писатель Михаил Булгаков. Он врзался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос.

Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом – металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский.

Но этот раз я участвовал в бою, потому что мне надо было посчитаться с гимназистом Хавиным, сыном биржевого маклера.

Этот высокий развинченный гимназист почти в каждую фразу ухитрялся вставлять слово «сакраментально», несмотря на то что сильно картавил. Сидя в театре, он посылал томные воздушные поцелуи знакомым девушкам. Он приезжал в гимназию в собственном экипаже и был налит презрением к нам, разночинцам.

Все вышло из-за пани Козловской. Старушка плохо видела и боялась одна выходить в город. Почти каждое воскресенье я провожал ее в костел. Пани Козловская смущалась тем, что затрудняет меня, без устали извинялась и от стеснения краснела, как девушка.

Обыкновенно я вел ее под руку, иначе она натыкалась на встречающих. Иногда меня сменял в роли поводыря поручик Ромуальд. Но это бывало редко. Я подозревал, что поручик стыдился старушки-матери, ее старомодного пальто и ее беспомощности. Во всяком случае, по утрам в воскресенье поручик почти всегда бывал «чертовски занят».

В одно из воскресений я вел пани Козловскую в костел по Михайловской улице. Нам встретился Хавин. Он поднял брови и, прищурившись, посмотрел на меня. Лицо его изобразило презрительное недоумение. Потом он медленно с ног до головы осмотрел пани Козловскую, усмехнулся, громко щелкнул пальцами, свистнул и прошел.

Когда начался бой, я вышел в сад. Хавин стоял в стороне. Кушака на нем не было. Он был «освобожденный». Я тоже был «освобожденный» и тоже был без кушака. Но я подошел к Хавину и дал ему оплеуху.

Хавин странно пискнул. Меня схватил за руку надзиратель «Шпонька».

На следующий день инспектор Бодянский вызвал меня к себе.

– Это что ж такое? – сказал Бодянский. – Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готтентоты. А то извольте – дать человеку пощечину! За что?

– Было за что. Я никогда в жизни не дрался, Павел Петрович. Вы же знаете.

– Так, так! Рискуете все-таки, что во втором полугодии вам не дадут освобождения от платы. За что вы его ударили?

Я уперся и не хотел сказать, за что я ударил Хавина.

– Стоило. Можете мне верить или нет, Павел Петрович, но больше я ничего не скажу.

– Верю, – сказал Бодянский. – Идите! И пусть этот случай поглотит медленная Лета.

После каждого боя у директора и Бодянского были неприятные объяснения с попечителем учебного округа и с родителями потрепанных оболтусов.

– Вот что значит, если у людей нет царя в голове, – говорил нам с горечью Бодянский. – А еще читаете всяких Ибсенов и Леонидов Андреевых! Просвещенные юноши! Будущие столпы общества! Зулусы и троглодиты!

## «Живые» языки

Из «мертвых» языков мы изучали в гимназии только латынь. Она была главным предметом. Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фаддеевич Субоч, похожий на высокого, худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе иногда неожиданные и стремительные разгромы по латинскому языку всего нашего класса.

Бодянский тоже строго следил за нашими познаниями в латыни и любил повторять:

– Латинская речь есть величайший феномен языкосложения!

Греческий язык был необязателен. Изучали его немногие. Преподавал этот язык старый, обсыпанный табачным пеплом чех Поспешиль. Он медленно продвигался по коридорам на больных, опухших ногах и всегда опаздывал на уроки. За это мы переименовали его из Поспешила в Опоздаль.

Из «живых» языков мы изучали французский и немецкий. Это были скучные уроки.

Француз Сэрму, сухорукий, с рыжей острой бородкой времен короля Генриха IV, приносил под мышкой большие олеографии и развешивал их на стене.

На олеографиях была изображена счастливая жизнь поселян неизвестной национальности в разные времена года. Весной эти поселяне в соломенных шляпах с разноцветными лентами пахали землю, в то время как их румяные жены, затянутые в корсажи, кормили желтых цыплят. Летом поселяне косили сено и плясали вокруг стогов, помахивая ветками розанов. Осенью они молотили хлеб около игрушечных хижин, а зимой, очевидно за неимением других дел, катались на коньках по замерзшей реке.

Но все же картинки с поселянами были гораздо интереснее других картинок, изображавших скучные геометрические комнаты со скудной мебелью и котенком, играющим клубком шерсти.

Сэрму развешивал олеографии, брал в здоровую руку указку, показывал на поселян, танцующих с серпами, или на котенка и спрашивал громовым голосом по-французски:

– Что видим мы на этой интересной картинке?

Мы хором отвечали по-французски, что на этой картинке мы ясно видим добрых пейзажей или совсем маленькую кошку, играющую нитками достопочтенной бабушки.

Эта канитель с картинками длилась два года, пока однажды вместо Сэрму инспектор не привел к нам на урок нового учителя, мосье Говаса.

Мосье Говас только что приехал в Россию. Он не знал ни слова по-русски. Первый его урок в этой загадочной стране выпал как раз на наш класс.

Мосье Говас происходил из Бретани. Это был низенький толстый человечек, настолько равнодушный, что он даже не давал себе труда на нас сердиться.

Инспектор представил нам мосье Говаса и ушел. Тогда встал гимназист-француз Регамэ и на великолепном парижском диалекте учтиво сообщил мосье Говасу, что в России перед уроком принято читать молитву. Мосье Говас снисходительно улыбнулся, очевидно подумав, что каждая страна имеет свои странности.

Тогда наступила очередь гимназиста Литтауэра. Он был еврей, но хорошо знал православное богослужение.

Литтауэр вышел, остановился против иконы, широко перекрестился и начал «молитву перед учением»: «Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего святого, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы».

Он прочел эту молитву пять раз, потом прочел «Великую ектению». После этого Литтауэр огласил «Символ веры», «Отче наш» и начал читать молитву Ефрема Сирина.

Мосье Говас стоял, вежливо склонив голову и недоумевая.



– Господи, владыко живота моего! – взывал Литтауэр. – Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!

Мы хором повторяли слова молитвы и поглядывали на часы. До конца урока оставалось десять минут. Мы боялись, что у Литтауэра не хватит богослужебных познаний, чтобы дотянуть эти десять минут. Но Литтауэр нас не подвел. Он второй раз прочел «Символ веры» и закончил урок торжественным чтением молитвы «Спаси, господи, люди твоя».

Затрещал звонок, и мосье Говас, слегка пожав плечами, ушел в учительскую. Черный его сюртук блеснул в солнечном луче и поплыл, лоснясь, по коридору.

Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский и крикнул:

– Фигли-мигли! Кошунствовать изволите, лоботрясы! Кто тут устроил молебствие? Наверное, ты, Литтауэр?

– Что вы! – воскликнул, вставая, Литтауэр. – Я же еврей, Павел Петрович.

– Ой-ой-ой! – сказал Бодянский. – Еврей! Интересный резон! Будто я поверю, что если ты перекрестишься, то у тебя отсохнет рука! Собери книги и ступай домой. По дороге можешь обдумывать то печальное обстоятельство, что отныне ты уже имеешь вторую четверку по поведению.

При мосье Говасе мы погрузились в дебри неправильных глаголов и спряжений. Великолепный язык оборачивался тяжелой схемой. Мы путались среди загадочных ударений, между всеми этими «аксанта эгю», «аксан грав» и «аксан сирконфлекс». Постепенно случилось так, что живой язык Флобера и Гюго начал существовать для нас как нечто совершенно оторванное от того, что преподавал нам мосье Говас.

Чем старше мы становились, тем больше любили французскую литературу, стремились читать французов в подлинниках. Для этого мы изучали язык сами или с помощью частных преподавателей, махнув рукой на флегматичного бретонца. А он все спрягал и склонял, поглядывая за окно, где падал с русского неба холодный белый снег. И в глазах у мосье Говаса ничего нельзя было прочесть, кроме тоски по огню камелька.

Мы пытались заговаривать с ним о Бальзаке и Дюма, о Гюго и Доде, но мосье Говас или отмалчивался, или замечал, что это литература для взрослых, а не для русских мальчиков, которые до сих пор не знают разницы между «фютюром» и «кондиционером».

С течением времени выяснилось, что у мосье Говаса есть в Бретани, в маленьком городке, каменный домик и старуха-мать и что мосье Говас приехал в Россию только для того, чтобы, заработав за несколько лет кругленькую сумму, вернуться в свой дом, где мать его разводила кроликов, а мосье Говас собирался выращивать шампиньоны и сбывать их в Париж – это было выгодно. Поэтому мосье Говаса совершенно не интересовали ни Россия, ни французская литература.

Один только раз мосье Говас разговаривал с нами. Это было весной. Мосье Говас готовился поехать на летние каникулы в Бретань. Этим объяснялось его хорошее настроение.

Он угрюмо шутил и сообщил нам, что человек создан, чтобы жить без всяких волнений. А для этого нужно подчиняться законам и довольствоваться малым.

Потом он рассказал нам, как ловил мальчиком омаров со своим дедом, вздохнул и задумался. За окнами цвели каштаны. Весна бродила вместе с легким сквозным ветром по коридорам, дышала в лицо девичьим своим дыханием. Мосье Говас смотрел на весну и печально покачивал головой – жизнь выбросила его в мир, как ветер сдувает с зеленого листика толстую божью коровку. А все потому, что он был небогат и должен был скучным своим трудом сколачивать тихое будущее.

– Да, – сказал мосье Говас, – такова жизнь! Будем же терпеливы. Не станем роптать на судьбу и на бога. Терпенье вознаграждается. Не так ли?

Никто ему не ответил, потому что в то время мы были уверены в том, что терпение сродни идиотизму.

Много лет спустя я рассказал своему другу, писателю Аркадию Гайдару, как мосье Сэрму обучал нас французскому языку по олеографиям.

Гайдар обрадовался, потому что и он учился этим же способом. Воспоминания начали одолевать Гайдара. Несколько дней подряд он разговаривал со мной только по методу Сэрму.

Мы жили тогда под Рязанью, много бродили, ловили рыбу в озерах.

– Что мы видим на этой картинке? – спрашивал по-французски Гайдар во время наших скитаний и тут же сам себе отвечал: – Мы видим негостеприимную деревню, покидаемую бедными путниками. Мы видим поселян, не пожелавших обменять путникам три яйца на горсть табаку.

Когда мы возвращались в Москву по пустынной железнодорожной ветке от станции Тума до Владимира, Гайдар разбудил меня ночью и спросил:

– Что мы видим на этой интересной картинке?

Я ничего не видел, потому что свеча в фонаре сильно мигала и по вагону бегали тени.

– Мы видим, – объяснил Гайдар, – одного железнодорожного вора, который вытаскивает из корзинки у почтенной старушки пару теплых русских сапог, называемых валенками.

Сказав это, Гайдар – огромный и добродушный – соскочил со второй полки, схватил за шиворот юркого человека в клетчатой кепке, отобрал у него валенки и сказал:

– Выйди вон! И чтобы я тебя больше не встречал в жизни!

Испуганный вор выскочил на площадку и прыгнул на ходу с поезда. Это было, пожалуй, единственное практическое применение метода господина Сэрму.

Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Федорович Иогансон был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы иногда занимались вещами, далекими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Федорович давал нам переписывать партитуру своей оперы «Дух токайского вина».

Иогансон был венец, пожилой и нервный. В класс он приходил с деревянной ножкой, отпиленной от стула. Когда беспорядок достигал недопустимых размеров, Иогансон хватал ножку от стула и начинал изо всей силы колотить по столу. Мы сразу приходили в себя.

Иогансон был знатоком и любителем музыки. Он собирался быть композитором, но какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся преподаванием.

От нас он требовал самых ничтожных познаний в немецком языке. Если кто-нибудь из нас проваливался, Иогансон долго смотрел на него поверх пенсне, вздыхал и медленно ставил тройку с минусом.

Однажды, когда я был уже в шестом классе, Иогансон потерял в трамвае рукопись своей оперы. Это был единственный экземпляр. Он напечатал об этом объявление в газетах. Но никто оперу не возвращал. Целую неделю Иогансон не приходил в гимназию, а когда пришел, мы его почти не узнали – он посерел, и желтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке у Иогансона стояла глубокая тишина.

– Ну вот, юноши, – заговорил Иогансон, – все кончено! Эта опера была делом всей моей жизни. Я становился молодым, когда писал ее. С каждой страницей с меня слетало по несколько лет. Да! Это было так! То была музыка счастья. Я писал о нем. Где оно? Всюду! В том, как шумит лес. В листьях дуба, в запахе винных бочек. В голосах женщин и птиц. Везде и всюду. Я мечтал быть бродячим певцом, а не таскать этот форменный сюртук. Я завидовал цыганам. Я пел бы на деревенских свадьбах и в доме лесника. Пел бы для влюбленных и одиноких, для героев и поэтов, для обманутых и не потерявших веры в добро. Все это было в моей

опере. Все! Я надеялся, что умру спокойно, если увижу ее на сцене венского театра. Может быть, думал я, мой друг, старый поэт Альтенберг, придет и сядет, как медведь, в бархатное кресло, и слеза появится у него на глазах. Это было бы для меня лучшей наградой. А может быть, эту музыку услышала бы та, что никогда не верила в мои силы...

Иогансон говорил, рассматривая свои худые пальцы. Он будто опьянел от горя. Он всегда говорил немного пышно и театрально, но сейчас мы этого не замечали. Мы сидели потупясь.

После урока на перемене к нам пришел Субоч.

– Я хотел предупредить вас, – сказал он, когда мы его окружили, – чтобы вы особенно деликатно вели себя теперь на уроках Оскара Федоровича. Но я подумал, что вы догадаетесь об этом и без моих указаний.

В тот же день по всем классам гимназии пронесся призыв: «Найти оперу! Найти ее во что бы то ни стало!»

Кто бросил этот призыв, я не знаю. Он передавался из уст в уста. Мы собирались кучками и обсуждали пути поисков. Мы ходили как заговорщики. В душе у каждого бушевало нетерпение.

Поиски начались. Мы опрашивали кондукторов трамваев, обходили базары. Мы рылись у торговцев в оберточной бумаге. Наконец на Лукьяновском базаре опера была найдена.

Увидел ее один гимназист восьмого класса у торговки салом. Торговка жаловалась, что бумага не годится для обертки – чернильные строчки отпечатываются на сале, и покупатели сердятся. Поэтому в рукописи не хватало всего трех страниц.

Рукопись вернули Иогансону на уроке в восьмом классе. Мы не видели, как это произошло. Мы только видели, как Иогансон шел после урока по коридору, окруженный восьмиклассниками. Он был без пенсне. Он шел нетвердо, пошатываясь. Восьмиклассники поддерживали его. В дверях учительской комнаты стоял инспектор Бодянский, улыбался и кивал головой. Он обнял Иогансона, и они поцеловались.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.